

РОМАНОВЫ



ПАВЕЛ I

Казимир Феликсович Валишевский Сын Екатерины Великой. (Павел I)

*Текст предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=172359
Павел I. Сын Екатерины Великой: АСТ, Астрель; Москва; 2003
ISBN 5-17-018871-4, 5-271-06522-7*

Аннотация

Казимир Валишевский (1849 – 1935) – широко известный ученый: историк, экономист, социолог. Учился в Варшаве и Париже, в 1875–1884 гг. преподавал в Кракове, с 1885 г. постоянно жил и работал во Франции. В 1929 г. «за большой вклад в современную историографию» был отмечен наградой французской Академии наук.

Автор ряда книг по истории России, среди которых наиболее известными являются «Петр Великий» (1897), «Дочь Петра Великого» (1900), «Иван Грозный» (1904), «Сын Екатерины Великой» (1910), «Екатерина Великая» (1934).

Несмотря на то, что многие оценки и выводы Валишевского сегодня могут показаться спорными, «Сын Екатерины Великой», безусловно, заинтересует всех любителей отечественной истории, в первую очередь благодаря огромному количеству малоизвестного фактического материала, собранного и изложенного в книге.

Содержание

Предисловие	4
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ	8
Глава 1	8
Глава 2	24
Глава 3	39
ЧАСТЬ ВТОРАЯ	54
Глава 4	54
Глава 5	69
Конец ознакомительного фрагмента.	78

Казимир Валишевский

Павел I. Сын Екатерины Великой

Предисловие

Сын Екатерины с его трагической судьбой – одна из самых загадочных фигур истории. И одна из самых спорных. Это разногласие по поводу личности императора Павла стало за последнее время особенно резким.

Безумие на престоле, более или менее ярко выраженное, наблюдалось не раз, особенно во второй половине восемнадцатого века. Георг III в Англии и Христиан VII в Дании были современниками Павла. Однако относительно последнего вопрос надо поставить несколько иначе.

Во-первых, был ли сын Екатерины действительно душевнобольным?

Еще недавно это считалось вполне несомненным, по крайней мере по отношению к последним годам жизни императора Павла. Общепризнанным было и мнение о губительности и самодурстве его правления, когда судьбы России в течение четырех лет находились в бесконтрольной и безграничной власти безумного деспота. Но теперь вопрос этот вызывает сомнения. Мы видим за последние годы полный переворот в установившихся взглядах на характер и ум Павла I, так же, как и на значение его царствования.

Причины этого переворота понятны; среди них первое место занимает, конечно, прогресс науки. Новые открытия патологии опровергли не один вывод, который делался раньше о нравственном складе императора, а более глубокие исторические изыскания заставили в свою очередь проверить прежний приговор о Павле Петровиче. В возникшие по этому поводу прения властно вмешался также закон реакции, доведя спор до крайних, в противоположном смысле, и очень смелых заключений. И, наконец, случайное стечение событий и поворот в общественном мнении, вызванный этими дебатами или, напротив, вызвавший их, придал спору характер страстности.

Результат, к которому этот спор привел, невольно вызывает, однако, смущение.

В глазах своих новейших русских биографов Павел не только перестал быть сумасшедшим, но превратился почти в великого человека. Они не ограничиваются тем, что восхваляют его высокие качества и блестящие дарования; они склонны признать его гением. Его царствование будто бы не только не представляло собой для его подданных ряда тяжелых испытаний, как это думали прежде, но было в их жизни периодом деятельности, особенно благотворной и плодотворной. И если бы начинания императора Павла не были прерваны его смертью, то, возродив Россию, они открыли бы перед ней ослепительные перспективы благоденствия и величия.

Остается только объяснить, каким же образом после современников Павла, почти единодушно осудивших его, потомство заблуждалось на его счет так долго? Как могла произойти столь грубая ошибка? Почему, вопреки своим интересам, своей славе и естественному инстинкту, родная мать этого непризнанного государя настолько разделяла по отношению к нему общее чувство, что готова была на все, только чтобы отнять свое наследство от этого наследника? И если Павел был действительно достоин того места, которое его новые защитники отводят ему в пантеоне великих государей, то как они примиряют это величие с некоторыми неоспоримо странными чертами его характера и ума, не отрицаемыми и ими, и теми явно губительными последствиями его царствования, которые и ими признаются губительными?

Загадка, таким образом, остается неразрешенной, лишь изменив свою форму. И, может быть, последующие страницы помогут ее разрешить.

Как ни тщательно был изучен другими исследователями ум и нрав Павла в их природном складе или в их эволюции, безусловно не все данные были приняты ими в соображение. Помимо наследственности, воспитания и окружающей среды, другие не менее решающие влияния ускользнули от их внимания. Держась противоположных своей матери взглядов, Павел в течение двадцати лет был резким противником ее политики и царствования, заслуги которых, несмотря на некоторые ошибки, признаются, тем не менее, всеми. Он задумал, подготовил и хотел произвести полный переворот того правления, которое дало России могущество, блеск и обаяние, каких она не имела с тех пор. Достигнув власти, он если и не привел этого плана в исполнение, то во всяком случае пытался это сделать. Вступив, наконец, на время в противореволюционную лигу, он затем вышел из нее, чтобы сойтись с героем 18 брюмера и вместе с ним мечтать о разрушении старого порядка в Европе и о разделении мира между ними двоими. Что это, как не указание на родство Павла, и родство несомненное, со множеством расстроженных и неуравновешенных умов той эпохи, охваченных вместе с ним ее великим политическим и нравственным неврозом? Он был, конечно, подлинным сыном революции, которую он так пламенно ненавидел и против которой боролся. Его нельзя назвать поэтому ни сумасшедшим в патологическом значении этого слова, ни даже слабоумным, хотя он и был способен на явное безрассудство и на последние глупости: просто, как человек посредственного ума, он не мог устоять против общего умственного кризиса, заставлявшего бредить даже самых сильных. Несмотря на это, он вызывал в некоторых своих современниках восхищение, и после смерти был превознесен другими, так как есть люди – в известные периоды такими является большинство – которые легко принимают буйность и опрометчивость за силу и гениальное вдохновение.

У читателей, которых удивит такой взгляд, я попрошу немного доверия. Если они согласятся рассмотреть со мною те факты, о которых я говорю в этой книге, то – думаю я – им станет достаточно ясно, почему сложилось во мне мое убеждение. И, надеюсь, не сделают мне упрека, которого не навлекла еще ни одна из моих работ: я безусловно никогда не выказывал в них ни страсти к парадоксам, ни склонности к произвольным догадкам.

Не могу не указать, впрочем, что эта тенденция оправдывать сына Екатерины, о которой я говорил, замечается в России лишь за последнее время и совпадает с бурным проявлением тех же политических и общественных течений в этой стране, какие потрясли Европу сто лет назад.

Вопрос о том, насколько эти политические идеи проникали во времена Павла в Россию и каково было их влияние, как в лице Павла и в характере его правления они сочетались с началами беспорядка или устойчивости, консерватизма или революции, свойственными его стране, – и составляет предмет моей книги и ее главный интерес. Своей сложной психологией и драматическими перипетиями своей жизни вплоть до последней трагедии, закончившей ее, Павел бесспорно вызывает большой интерес; но выдержавшая на себе опыт его царствования громадная страна, которую он держал в своей власти и задался целью переделать на свой образец, без сомнения, еще интереснее.

Настоящая книга возвращает меня к той эпохе в истории России, где я оставил ее двадцать лет назад, когда отступил вглубь ее, к более давним ее временам. Позвольте мне не повторять здесь, что побудило меня к этому длительному отступлению, которое некоторые критики до сих пор не могут мне простить. Для моих читателей оно вызывало несомненно некоторые неудобства, однако преувеличенные, по моему мнению, – но мне самому угрожало несравненно более серьезным риском: оставить – если бы я прервал свою работу на полпути – нежелательный пробел между основанием того здания, которое я возводил, и его верхними ярусами. Но так как этого не случилось, то читатели не откажут признать, что ни

тщательность отделки, ни стройность всей постройки, насколько архитектор был способен их осуществить, не пострадали от приема его работы. Хороши или нет результаты моего труда, этот труд представляет собой, тем не менее, нечто цельное. Я убедился в этом, когда при переводе на иностранные языки моих книг, – и именно тех, что вышли раньше других, – я должен был пересмотреть все написанное мною раньше.

К очеркам очень неравного интереса, в смысле эпохи и содержания, предназначенным притом для различных – по качеству и количеству – читателей, нельзя, по моему мнению, относиться одинаково. Но если бы мне пришлось вновь начинать свою работу, имея в виду план и границы настоящего очерка, то я мало бы что изменил в двух первых книгах моего труда, посвященных Екатерине II. И я тем менее изменил бы этот план, что читатели, которых я имел в виду, по-видимому, отнеслись к нему с одобрением в различных странах.

Переводы той серии моих сочинений, к которой принадлежит «Роман императрицы», теперь очень многочисленны в России, но все относятся к самому недавнему времени. До 1905 года строгость цензуры не допускала выпуска моих работ на русском языке. Переводчики и издатели вовсе не были поэтому принуждены следовать за автором в «его движении зигзагами», за которое его столько раз укоряли; а по существовавшему до сих пор порядку вещей я был лишен всякой возможности руководить этими переводными работами, узнавая о них в большинстве случаев лишь по библиографическим указателям. Между тем по соображениям, подобным тем, которыми я руководился сам, – русские издатели моих сочинений уклонялись обыкновенно еще больше меня от хронологического порядка.

При подготовительной работе к этому тому я нашел в литературе предмета богатый материал, однако пользоваться им было часто трудно. За исключением нескольких отрывочных и неполных исследований и исторических документов той эпохи, почти все монографии, записки и даже некоторые документальные данные рассеяны по бесчисленным журналам. Но мне кажется, что все сколько-нибудь ценное не оставлено мною здесь без внимания.

Относительно других источников не могу похвалиться, чтобы они были так же основательно исчерпаны мной. Их слишком много, и они слишком разбросаны по различным архивам, чтобы быть изучены одним человеком. Иные из них притом недоступны, даже в государственных хранилищах, за отсутствием каталога и классификации, необходимых для пользования этими сокровищами. Впрочем, мы напрасно стали бы искать в них каких-либо откровений, которые могли бы изменить наш взгляд на личность Павла и на события его времени. Не говоря уже о том, что даже в России было произведено немало исследований на эту тему, сын Екатерины, с его пристрастием к парадам, жил и действовал слишком открыто, чтобы суметь скрыть что-либо важное даже в самых сокровенных своих чувствах. Главный документ истории его царствования – это «Полное собрание законов» и статьи «С.-Петербургских Ведомостей». Павел сказался тут весь, со всеми даже своими чудачествами и запальчивостью.

Некоторые пункты его жизни и характера еще требуют, конечно, освещения; но в наш век специализации недостаток чувствуется обыкновенно не в изучении подробностей, а напротив – в понимании всего явления в его целом. На это я и направлял свои усилия, не пренебрегая, насколько возможно, и частностями, и насколько исторической истине не суждено вечно уклоняться от наших попыток найти ее, на каком бы множестве свидетельств мы ни строили свой труд, – мне кажется, я достаточно приблизился к ней, оставив возможным заблуждениям лишь неширокое поле.

Многие лица оказали мне при моих изысканиях ценные услуги. Приведу только один пример: в то время как в Лондонском *Record Office* любезность выдающегося начальника этого несравненного учреждения и разумная помощь его персонала позволили мне при моем приезде в Лондон закончить в несколько дней значительный труд, – услужливость высокообразованного русского консула в Лавалетте, г. Рудановского, избавила меня от другого путе-

шествия для использования архивов Мальты. Этим сотрудникам и всем тем, которых я имел счастье найти, я приношу здесь мою благодарность.

Уважаемый русский посол в Париже, А. И. Извольский, сам разрешил мне считать его в числе моих помощников, предоставив в мое распоряжение многочисленные документы и заметки, собранные им в течение его двойной трудовой карьеры, во время которой спокойное изучение прошлого часто отвлекало русского дипломата от животрепещущих забот настоящей минуты. Прошу его принять мою искреннюю признательность.

И, наконец, у меня особенный долг благодарности по отношению к Его Императорскому Высочеству великому князю Николаю Михайловичу, доказавшему мне еще раз свое великодушие и открывшему мне доступ не только в его собственные столь богатые хранилища в С.-Петербурге и в Боржоме, но и в некоторые другие, где я мог почерпнуть драгоценные сведения. Мне хотелось бы, чтобы эта книга заслужила тот интерес, с каким он к ней отнесся, и я надеюсь, что он не откажет принять выражения моей глубокой и почтительной признательности за его высокомилостивое к ней внимание.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ ОЖИДАНИЕ

Глава 1 Претендент на престол

I

Павел родился 20 сентября 1754 года, и ему было восемь лет, когда умер его отец. Но верховную власть захватила его мать, и ему пришлось ждать до 1796 года, пока власть перешла к нему. Он находил, что Екатерина завладела престолом в ущерб его праву, и это и послужило основанием той драмы, которая в течение столь долгих лет делала сына более или менее открытым противником матери.

Я уже писал об этой стороне их отношений, и с тех пор этот вопрос стал, даже во Франции, предметом очень подробных исследований. Я должен, однако, вкратце к нему вернуться. Чтоб понять императора Павла в 1796–1801 гг., надо знать великого князя Павла Петровича за период 1762–1796 гг., когда он был наследником престола, но был также и претендентом на престол, а, следовательно, бунтовщиком. Это основная черта биографии несчастного государя. Она была преобладающей в течение первой половины его жизни, но и во второй ее половине послужила отчасти причиной ее кратких, но драматических событий. Тем не менее, она до сих пор недостаточно принималась в соображение.

Были ли основательны притязания цесаревича? Вопрос этот считается спорным. Однако он чрезвычайно прост, и его запутали только тем, что ввели в него нехстати, как это делал и сам Павел, принцип законности, которому в нем нет места.

Закон о престолонаследии? Но такого закона не существовало тогда в России. Ни в каком роде и ни в каком смысле. Престол, которого требовал себе сын Екатерины по праву наследования, не был наследственным в его время. Он переходил «по избирательному или по захватному праву», согласно знаменитой формуле Караччиоло, или, проще, по русской поговорке: «кто раньше встал да палку взял, тот и капрал».

Из хаотической путаницы противоречивых взглядов на преемство верховной власти в России, сменявшихся один за другим после того, как в конце шестнадцатого века угасла династия Рюрика, Петр Великий извлек один решающий принцип: «правду воли монаршей», т. е. произвольную власть государя выбирать себе наследника. Но сам Петр не пожелал воспользоваться этим правом, после него и пошел ряд императоров и императриц, *захватывавших российский престол при помощи государственных переворотов*.

Сама достигнув престола этим путем, Елизавета, правда, вспомнила о принципе, установленном ее великим отцом, и избрала себе преемником племянника – отца Павла; но Петр III не подумал в свою очередь воспользоваться тем же правом в интересах своего сына. Таким образом после его смерти Павел был с точки зрения закона – ничто, и между ним и Екатериной была возможна борьба не прав, а честолюбий. И, действительно, борьба эта и началась между ними именно в этом смысле до восшествия на престол молодой подруги Орловых и до трагической кончины ее мужа.

Еще в 1760 году, назначенный Елизаветой воспитателем Павла, Никита Иванович Панин замышлял то, что Екатерина осуществила впоследствии, – с той разницей, что,

устранив Петра, он хотел заменить его сыном, а не супругой свергнутого императора. При царившем в то время произволе он мог бы привести свой план в исполнение. А план его заключался в том, чтобы при помощи своего ученика осуществить в России идеал конституционной монархии на шведский образец, т. е. верховной власти, находящейся в действительности в руках министров не управляющего монарха. Но это ему не удалось, и Екатерина, сумевшая лучше воспользоваться услугами гвардии и собственной смелостью и счастьем, одержала над ним победу, совершив государственный переворот в свою пользу. Павел узнал со временем об этом бывшем проекте возвести его на престол, и это еще более усилило в нем раздражение против Екатерины, а также против тех, кто помог ей надеть царский венец.

Однако, даже помимо сыновней любви, которая не должна была бы допускать в нем этого злого чувства по отношению к матери, оно было тем менее справедливо, что с воцарением Екатерины он выигрывал гораздо больше, чем терял.

Он терял крайне непрочные шансы на престол. Было весьма невероятно, чтобы отец избрал его своим наследником. Разве Петр III не заводил речи о том, чтобы прогнать Екатерину и жениться на Воронцовой? От этой жены он мог иметь других детей, и она могла бы убедить его отдать ее ребенку предпочтение пред Павлом. Петра считали, впрочем, способным предпочесть Павлу даже жертву предшествовавшего государственного переворота, сверженного Елизаветой императора Иоанна Антоновича! Екатерина же, едва вступив на престол и провозгласив себя самодержицей Всероссийской, первым делом назначила сына своим наследником. Только ей он был обязан своим правом на престол, и таким образом являлся вдвойне ее созданием.

Но честолюбцы не рассуждают.

Между матерью и сыном стояла, кроме того, окровавленная тень убитого в Ропше. Если бы Петр III остался жив, Павел по всей вероятности не царствовал бы после него. И можно поставить ему только в похвалу то, что это соображение не оказывало на него влияния. Но он был неправ, смешивая вполне законное чувство горечи по поводу смерти отца с личными притязаниями, которые ни в каком смысле не были законными, и, став по отношению к матери, давшей ему и жизнь и право на царствование, не только в положение судьи, но и соперника. А между тем эта двойная роль, которой он держался тридцать четыре года по отношению к Екатерине, и определила в большой мере всю его судьбу.

Как бы Екатерина ни поступила после кончины Петра III, она вряд ли сумела бы уничтожить роковые последствия событий, возведших ее на престол. Да и что она могла сделать? Наказать убийц? Но она была им обязана властью и возможностью сохранить эту власть в своих руках. Смягчить сына своей любовью? Но он был оторван от нее на следующий же день после того, как она его родила; он был ей почти чужой, и ничто в этом ребенке не привлекало ее сердца и не радовало ее ума. К тому же он был ее соперником, и она должна была считаться с мнительностью и опасениями тех, кто поддерживал ее против него.

Ее сторонники не могли, правда, мешать ей исполнять материнский долг по отношению к сыну. Однако уклонилась ли Екатерина от обязанностей матери по собственному почину? Ее обвиняли в этом. Но это вопрос, который следует рассмотреть отдельно.

II

Воспитание Павла вызывает во многих резкое осуждение. Оно не было, разумеется, образцовым. Однако трудно указать на пример образцового воспитания в ту же эпоху и при аналогичных условиях. Наследник Людовика XV и наследник великого Фридриха были воспитаны не лучше ученика Панина. И, с другой стороны, Екатерина не могла вполне свободно руководить физическим и нравственным развитием своего сына даже после того, как верховная власть перешла в ее руки.

Предшественник Панина, Федор Дмитриевич Бехтеев, был выбран совершенно помимо ее воли. Это был посредственный дипломат, но вполне порядочный человек, – его пребывание в Париже не принесло ему славы. Он развил природную страсть Павла к военным учениям, выдумав для него азбуку, где буквы изображались солдатиками. И развил также гордость Павла, издавая и печатая газету, в которой сообщалось о малейших поступках и событиях жизни молодого великого князя. Екатерина не имела в то время никакого голоса в деле воспитания сына. А как только получила возможность заняться им, она была готова привлечь все лучшие умственные силы Европы для образования сына. Но, прочитав манифест, где смерть Петра III приписывалась геморроидальному припадку, д'Аламбер отказался от сделанного ему предложения, сказав, что он подвержен той же болезни. Его примеру последовали Дидро, Мармонтель и даже Сорен. Тогда, в помощь Панину, которого тоже выбрала не она и которого не могла устранить, не раздражая поддерживающую его сильную партию, Екатерина должна была удовольствоваться менее знаменитыми педагогами.

Но и сам Панин не заслуживает того пренебрежения и строгого осуждения, с каким к нему относится большинство биографов Павла. Они слишком доверяют свидетельству одного из его сотрудников, Порошина, доброго, но недалекого человека и притом еще соперника в любви: Панин и Порошин ухаживали за одной женщиной, и Порошин совмещал эту страсть с любовью к сплетням. Он был в миниатюре Данжо Людовика XIV, отданного на его попечение.

Панин был бесспорно сибарит, развратник и интриган. «Свободное время, которое ему остается от еды, игры, распутства и сна, он употребляет на то, чтобы ссорить мать с сыном и сына с матерью», – писал про него французский поверенный в делах в Петербурге Дюран в 1774 году. Но не надо забывать духа и нравов той эпохи: автор «Исповеди», написав «Эмилия», считался тогда первым авторитетом именно в деле воспитания. И какова бы ни была исповедь, которую в свою очередь пришлось бы делать Панину, он имел за собою достоинства, даже как педагог. Это доказывает записка, составленная им в 1760 году: заботы о физическом и нравственном здоровье ребенка; намерение пользоваться даже играми, чтобы направлять Павла к добру; план учения, который познакомил бы его постепенно со всем, что должно интересовать будущего монарха, – ничто здесь не забыто. Хоть и сибарит и развратник, Панин был в то же время и мыслителем. Он стоял в связи – правда, несколько отдаленной, – со всей умственной аристократией того времени. В нем не было ничего общего с Струэнзе, еще меньше с Тюрго; несмотря на полунемецкое, полуфранцузское воспитание, он крепко сросся с родной почвой, с ее традициями, нравами и предрассудками, но присматривался и прислушивался и к тому, что творилось на Западе, после чего он перерабатывал в себе все эти впечатления, в духе своего народа, до их полной неузнаваемости.

Это отдаленное отражение и извращение господствующих в то время идей проявлялось в России особенно сильно и резко, так что было здесь всеобщим явлением. Сам Павел служит тому разительным примером.

Другие учителя молодого великого князя тоже не заслуживают презрения, хотя среди них не было Дидро и д'Аламбера. Француз Николаи, бывший прежде выдающимся профессором Страсбургского университета, его соотечественник Лафермьер, недурной писатель, и русский Плещеев, моряк, вышедший из английской школы и известный географ, – все это очень почтенные имена.

Со своей стороны, Панин, хотя и воспитывался в прибалтийских, германфильских провинциях, но придерживался не только тех симпатий, что были привиты ему там. Он хвалился своим эклектизмом, но не отказывался от своей национальности. Союз с Пруссией был первым членом его политического символа веры, Фридрих II – его пророком и Берлин –

Меккой, но Берлин второй половины восемнадцатого века, где французский дух – включая сюда и Вольтера, и оперные куплеты – играл, как известно, очень большую роль. В составленной им программе учения он отнюдь не отодвигал Россию на задний план; ее языку и ее литературе должно принадлежать, говорил он, первое место, если бы даже не существовало Ломоносова и Сумарокова.

Выполнил ли он эту программу? Это другое дело. Первое издание «Эмиля» вышло в 1752 году, и Панин, конечно, читал эту книгу. Но он не имел возможности уединиться со своим воспитанником в пустыне. Этому мешала жизнь при дворе – и при каком дворе! – с ее пышными празднествами и развлечениями. Итак, о правильности уроков не могло быть и речи. Они давались когда и как придется, между прогулкой, парадным обедом, спектаклем и маскарадом. Павел очень рано стал ходить в театр, что не могло быть для него очень назидательно, так как он видел пьесы вроде «Ревнивого фавна» или «Безумства любви», поучался разбирать достоинства известных балерин и по поводу одной преждевременно увядшей актрисы высказал предположение, что «elle avait dû passer par trop be mains».

То был двор Екатерины, и *Северная Семирамида* была по отношению к сыну настолько гостеприимной хозяйкой, что даже поощряла его преждевременные ухаживания за самыми распущенными из своих фрейлин. В этом она была неправа; но в общем развращающее влияние ее двора мало отразилось на Павле в его детские и юношеские годы. Говорили ли в нем прирожденные вкусы, или инстинктивная реакция против нездоровых для ребенка впечатлений, или наконец отвращение всему, что исходило от его матери, но молодой великий князь интересовался гораздо больше теми суровыми уроками, что давали ему его учителя. Когда им случалось говорить в его присутствии двусмысленности; как о том с негодованием свидетельствует честный Порошин, то Павел обыкновенно пропускал услышанное мимо ушей. Но зато он запоминал их панегирики Волынскому, министру-преобразователю императрицы Анны Иоанновны, ставшему жертвой своих благородных стремлений, а также их споры насчет неправоты Карла I по отношению к его подданным. Законоучитель великого князя, архимандрит Платон, бывший впоследствии Московским митрополитом и один из самых выдающихся епископов русской церкви, имел также на Павла очень сильное влияние, сохранившееся на долгое время.

Это более или менее устанавливало равновесие, но все-таки ребенку приходилось метаться между двух крайних течений, из которых каждое оспаривало его у другого. Главный упрек, который можно сделать воспитателям Павла, это то, что пища, умственная и нравственная, которую они ему предлагали, была для него слишком тяжела и обильна. Он всю свою жизнь увлекался идеями, непосильными для него. Еще ребенком он был полон мыслей, чувств и честолюбивых мечтаний, которых его мозг не мог переработать, так как чувственные способности всегда брали у него верх над всеми другими. На него в детстве смотрели, как на взрослого, и, благодаря Порошину, он никогда не забывал, что по своему рождению и призванию он человек единственный в своем роде, – будущий царь! Десятилетним мальчиком он уже высказывал обо всем свое решительное мнение, принимал тон азиатского деспота, не задумываясь раздавал направо и налево похвалы, порицания, презрение, – в особенности последнее. Он усвоил себе роль сурового цензора по отношению к правительству своей страны, раздражался от нетерпения, что не имел власти его изменить, и засыпал над своей ученической тетрадью со словами: «я царствую!»

И, грезя наяву, он уже распределял должности, жаловал чины, командовал армиями, давал сражения. Смешивая идеи двух противоположных направлений, имевших на него влияние, он то мечтал о самодержавной власти, – и, действительно, она вскружила ему голову, как только он ее достиг, – то увлекался мальтийским романом, с которым и связал впоследствии судьбы своей родины. Он обращался со своими камергерами или как с рабами, или наряжал их в рыцарей крестовых походов, закованных в латы, и устраивал с ними турниры.

Среда, в которой жил Павел, осложняла все эти странные контрасты еще большими противоречиями. Через конституционалиста Панина и масона Плещеева с его мистицизмом, наконец через самое Екатерину, усердно читавшую Монтескье и Беккариа, все либеральные идеи, гуманитарные взгляды и преобразовательные утопии века изливались украдкой на пробуждающийся ум молодого великого князя. Они открыли перед Павлом новый путь. Этот путь пленил его, и он устремился на него со свойственным ему пылом. Но бунтующий претендент и будущий самодержец не мог придать новой мечте, открывшейся его воображению, форму независимую от его собственной двойственной роли. Производить реформы? Да, конечно, после Струэнзе, Тюрго, Иосифа II и многих других он тоже будет преобразовывать свое государство! Но как? Он слепо – более слепо, чем революционеры, которые на другом конце Европы тоже стремились к завоеванию власти, – приписывал этой вождельной и ожидаемой с таким нетерпением власти почти безграничное могущество. Он считал ее волшебным жезлом, который ему достаточно будет взять в руки, чтобы переделать до самого основания весь мир или по крайней мере ту страну, где он будет царствовать.

Екатерина, составив план воспитания Павла по собственной мерке, упустила из виду личность воспитанника. Кроме того, ей пришлось столкнуться с различными влияниями: наследственности, приближенных всей окружающей среды, контролировать которые она не могла. В качестве последователя Руссо, Панин доходил до того, что чуть ли не запрещал своему ученику военные упражнения, или во всяком случае отодвигал их на задний план. Со своей стороны и императрица, сперва под влиянием Орловых и затем Потемкина, старалась освободить свою армию от традиций прусского милитаризма, успевшего уже наложить на ее сына свой отпечаток. Но среди приближенных великого князя нашлись подражатели Бехтеева, и Павел поддался внушениям младшего брата своего воспитателя, Петра Ивановича Панина, влюбленного в милитаризм, и мечтавшего подчинить ему весь гражданский строй государства. Павел будет царем, властелином, перед которым все трепещет и который все может: Порошин, ничего не понимавший в философии, непрестанно напоминал об этом ребенку. Павел каждый день слышал, как этот Порошин и другие восхваляли в Петре Великом гениального солдата, моряка и ваятеля, вылепившего свой народ на свой образец, словно кусок мягкого воска; или как они превозносили гений Фридриха, великого капрала, сумевшего выдрессировать свой народ, точно полк солдат, или сурового героического Мильтиада, без которого Греция погибла бы при Марафоне, несмотря на всех своих философов. Быть сразу Фридрихом, Петром Великим и Мильтиадом и этим затмить Екатерину – стало заветным желанием Павла. Но при этом он не хотел отрекаться от философии, надеясь, что ее идеи вдохновят его для возрождения его страны, и не отказывался также от самодержавной власти, необходимой, как он думал, для того, чтобы совершить это великое дело.

Все эти влияния и идеи, столь несоразмерные с природными дарованиями Павла, – впрочем, с ними вряд ли кто-либо сумел бы справиться, – составили несчастье его жизни и всех его близких. Павел был от природы и остался навсегда одним из тех фантазеров без всякого творческого дара, у которых воображение, по определению специалистов, играет ту же роль в области умственной жизни, какую воля играет в движении. Недостаток воли был в течение всей жизни Павла его слабой стороной; зато непомерная работа фантазии, вызывавшая в нем лишь «смешение, путаницу и искажение предметов», согласно известной научной формуле, отразилась на всей его деятельности. Правда, что трагические события его детства и пережитые им в раннем возрасте приступы страха и безудержного гнева тоже наложили на него неизгладимый отпечаток.

Павел был по природе добрый, веселый, резвый ребенок, полный великодушных порывов, с открытым сердцем и душой. Но он стал жертвой слишком часто пугавших его призраков. В нем ожил его отец; он рано узнал, как этот отец умер, и образы, связанные с этой кончиной, – столь же ужасной, какой была впоследствии и его смерть, – вызвали в нем преж-

девременное беспокойство, подозрительность и сознание своего унижительного и зависимого положения.

К этим тревожным мыслям присоединялись еще и другие, стоявшие в полном противоречии с первыми и в сущности возмутительные по той оскорбительной форме, какую Павел им придавал. Постоянно вспоминая о Петре III, он не менее часто выражал свои сомнения относительно того, что он его сын. Поведение Екатерины, конечно, допускало сомнения на этот счет; но разве мало матерей находятся в таком же положении – в особенности в восемнадцатом веке это было повседневное явление, – однако, их слабости и увлечения не вызывают в их детях инквизиторского любопытства. Сыновняя любовь извиняет их, прикрывая их одеждой Сима, даже искренно не замечает их прегрешений, так как в области родственных чувств привязанность часто берет верх даже над несомненной очевидностью.

Но Павлу такое чувство деликатности было чуждо; в тайне своего рождения он находил новый предлог для мучений, новый повод для скандала и лишнее объяснение для своей враждебности и недоверчивости. По природе экспансивный, он постепенно научился скрывать свои мысли и следить за своими словами. Он примешивал горечь ко всем своим радостям. И наконец, в виде протеста на воображаемое попрание его прав, в нем развилась непомерная гордость и преувеличенная обидчивость.

Он был несомненно сыном Екатерины и, должно быть, сыном Петр III. Но, кроме Екатерины – Петра, Павла породила двойная драма: семейная трагедия его родителей, определившая всю его дальнейшую судьбу, и другая трагедия, потрясшая Европу в вихре великодушных идей и разрушительных страстей. Таким образом, с самых ранних лет Павел жил среди мрачных и тревожных видений, наложивших навсегда отпечаток на задумчивое и беспокойное лицо этого «очаровательного государя и отвратительного тирана», как его назвал Суворов тридцать лет спустя.

В качестве педагогов, Екатерина, Никита Панин и их помощники не были, конечно, мастерами своего дела. Но надо помнить, что многие принципы науки воспитания не установлены до сих пор. Во всяком случае Павел вышел из их рук человеком не глупым и не развращенным. Всех, кто знакомился с ним, он поражал обширностью своих знаний и очаровывал своим умом. Он долгое время был безупречным супругом и до последней минуты жизни страстно поклонялся истине, красоте и добру. Несмотря на все это, он собственными руками вырыл ту пропасть, где погибли сперва его счастье, а затем и его слава и его жизнь.

Была ли Екатерина виновна в этом несчастье? Да, конечно, она была виновна в том, что забрызгала кровью колыбель своего сына. Но другие обвинения, которые ей предъявляют, – в том, что она задержала восшествие Павла на престол, бесправно завладев сама верховной властью, и что она сознательно развращала своего сына, – глубоко несправедливы. Сознательно она стремилась к совершенно противоположному – даже в ущерб собственной безопасности.

III

Павлу не было еще пятнадцати лет, как Екатерина стала думать об его женитьбе. И когда четыре года спустя она перебрала, подыскивая для него невесту, весь сонм немецких принцесс, достигших брачного возраста, то она остановила свой выбор на партии, бывшей, в ее глазах, самой выгодной для ее сына, но безусловно не вполне отвечавшей ее личным интересам.

Мать избранной принцессы, великая ландграфиня Гессенская, была очень достойная женщина; у нее бывали в Дармштадте Виланд, Гете и Гердер, дочь ее считалась особой воспитанной и незаурядной. Но «если она (молодая принцесса) не сделает революции, то никто ее не сделает», сказал про нее князь Вальдек, узнав об ее отъезде в Россию. А сама Екате-

рина, получив сведения о будущей невестке от своего свата, барона Ассбургга, написала: «Я уверена, что эта – самая честолюбивая (из всех сестер)». Однако она не колеблясь предложила ее Павлу в жены.

Екатерина, впрочем, ошиблась на ее счет, так как была слишком склонна судить о других женщинах по собственной мерке. У принцессы Вильгельмины Гессен-Дармштадтской, превратившейся в России в великую княгиню Наталию Алексеевну, все честолюбие свелось к желанию развлекаться по-царски. Начался ли ее известный петербургский роман еще в Дармштадте? Об этом ходили слухи, и говорили даже, будто сама Екатерина знала об этом. Но в действительности Наталия Алексеевна встретила героя своего романа, красавца Андрея Разумовского, лишь на борту корабля, привезшего ее в Россию. Да и не могла Екатерина предвидеть, что Павел, вначале сильно увлеченный чувственностью, но затем быстро утомившийся, будет спокойно предоставлять молодой жене долгие свидания с профессиональным пожирателем женских сердец, которого он называл своим самым «дорогим другом».

Екатерина, не щадя Павла, предупреждала его не раз об измене жены. Она готова была на все, чтоб разорвать связь, накладывавшую пятно на честь ее сына. Существует мнение, что она делала это просто из политических соображений, так как Наталия Алексеевна и ее любовник будто бы вступили в заговор с франко-прусской лигой. Фридрих, когда-то, в царствование Елизаветы, пользовавшийся услугами «молодого двора», конечно, был бы не прочь начать прежнюю игру; но Наталия Алексеевна была не Екатерина Вторая. «Моя жена только что допела *Stabat Mater* Перголезе, чтоб утешиться в смерти Олиды», писал Павел Разумовскому, сообщая ему о смерти любимой собачки жены. И он писал это без всякого злого умысла.

Судьба обрекла Павла на вечные драмы, и первый опыт его брачной жизни вышел тоже глубоко драматичным. Но мать его была тут ни при чем. Барон Ассбург, сам более или менее искренно обманувшийся в будущей супруге Павла, ввел и Екатерину в заблуждение. Наталия Алексеевна, вследствие несчастного случая, вызвавшего у нее искривление таза, была неспособна производить на свет детей, и в апреле 1776 года, после трех лет супружества, скончалась от родов. Говорили, что Екатерина приказала конфисковать тут же все бумаги покойной. Это возможно. Но если она отдала это распоряжение, то, конечно, не для того, чтобы найти в бумагах великой княгини следы предполагаемого заговора. Это было бы слишком неправдоподобно. В обоих враждебных России лагерях, ни австрийский посол князь Лобковиц, ни посол Франции маркиз Жюинье не упоминают вовсе в своих депешах о существовании подобной интриги. Если бы Андрей Разумовский вместе со своей подругой сердца был действительно виновен в государственной измене, то он не отделался бы простой ссылкой в Ревель; притом несколько месяцев спустя эта ссылка была заменена ему назначением на дипломатический пост в Италию!

В России того времени это было обычное наказание для скомпрометированных любовников великих княгинь, но отнюдь не для заговорщиков.

Наталия Алексеевна до последнего дня своей жизни не переставала посылать своему другу, через одну из фрейлин, Алымову, нежные записки и цветы. Страсть к Разумовскому поглощала ее всю, и Екатерина, может быть, хотела спасти от нескромных глаз не политическую, а чисто любовную по своему содержанию переписку. Но на этом толки не кончаются; говорят, что после того как архиепископ Платон исповедовал умирающую, Екатерина будто бы приказала ему нарушить тайну исповеди, чтобы открыть глаза великому князю и этим спасти его от отчаяния. Однако столь героическое средство было совершенно излишне. Не прошло и трех месяцев после смерти Наталии Алексеевны, как Павел, на предложение Екатерины вступить в новый брак, спрашивал ее с живостью:

– Блондинка? Брюнетка? Маленькая? Высокая?

Екатерина возвращалась теперь к своему первоначальному выбору, оказавшемуся относительно удачным. Еще в 1768 году она обратила внимание на Софию-Доротею Виртембергскую. Принцесса София, – имя, которое сама Екатерина носила до приезда в Россию, – родилась, как и она, в Штеттине, где ее отец, Фридрих-Евгений Виртембергский, опять-таки, как и отец Екатерины, командовал войсками; наконец, она была племянницей великого Фридриха, который покровительствовал и ей, Екатерине, когда она была немецкой принцессой. Но Софии-Доротее было тогда только девять лет, а с тех пор, потеряв надежду стать русской великой княгиней, она успела обручиться с братом покойной Наталии Алексеевны, принцем Людвигом.

Впрочем, последнее было неважно. Хоть и большой повеса, молодой принц умел жить. Он был кругом в долгах, и когда ему предложили пенсию в 10000 рублей, он позволил легко убедить себя, что «если в нем остается хоть сколько-нибудь чести», то он должен отказаться от своей невесты. Таким образом в августе 1776 года София-Доротея могла отправиться в Берлин, чтобы встретиться здесь со своим новым женихом.

На этот раз, среди немецких принцесс, из которых по традиции поставлялись невесты во все европейские дворы и которые были соответственно вышколены с этой целью, Екатерина сумела выбрать в своем роде совершенство. Едва прошло несколько недель после помолвки, как София-Доротея прислала Павлу собственноручное письмо на русском языке: при первом же свидании, зная о его серьезных вкусах, она завела с ним речь о геометрии, и на следующий день описывала великого князя своей подруге, г-же Оберкирх, в самых лестных выражениях и признавалась, что «любит его до безумия!»

При этом, выйдя за него замуж, она чуть ли не каждый год дарила ему по ребенку. Была ли она хороша? Судя по ее многочисленным портретам, трудно прийти к этому заключению, однако тут, может быть, виноваты художники. Она была близорукая, статная, свежая блондинка, очень высокая, но склонная к преждевременной полноте.

Каков был ее духовный облик? Представьте себе сосуд – не алебастровую или какую-нибудь другую драгоценную урну, тонко отделанную рукой художника, но и не простой глиняный горшок, – а вазу из доброкачественного мейссенского фарфора, разрисованную во вкусе Версаля и вмещавшую все, что только вливали в нее. Что же именно? О, множество крайне разнородных вещей!

Монбельяр, где жила младшая ветвь Виртембергского дома, или вернее соседний с ним Этюп, – полудеревенская резиденция во вкусе Руссо, – был в одно и то же время и двором владетельных принцев, и идиллическим местом уединения, и «bureau d'esprit»; Иосиф II, принц Генрих Прусский, леди Кравен, впоследствии маркграфиня Анспакская, Лагарп, Рейналь, Флориан, Сен-Мартен, Лафатер, Дроз и историк Перресио были частыми гостями у родителей великой княгини. Собиравшееся здесь общество представляло собой искусно подобранную смесь патриархальности и светской пустоты, умственных, художественных интересов и буржуазного мещанства, немецкой *Gemütlichkeit* и французской утонченности.

Девяти лет, разыгрывая хозяйку дома в отсутствие своих родителей, София-Доротея в своих письмах к ним, написанных по-французски, подробно рассказывала им, на что ею были истрачены два талера, и также какие успехи она сделала в географии и истории, – она утверждала при этом, что «церковные владения области Нижней Саксонии включают епископства Гильдесгеймское и Любекское», – и пересыпала эти сведения чувствительными излияниями.

В общем, из нее обещала выйти прекрасная жена и безупречная принцесса: при ее основательном образовании, разнообразных талантах и прочных добродетелях у нее было только несколько маленьких недостатков. Одни из этих недостатков были вывезены ею еще из Этюпа и сохранились в России; а другие получили в новой обстановке русского двора нежелательное развитие. Так, она была до того бережлива, что, если верить Корберону, не

колеблясь присвоила себе все старые платья, оставшиеся от первой жены Павла, и не стеснялась требовать у камеристок даже башмаки покойной: «столь она скупа», – пишет Корберон. Рядом с этим она любила до страсти пышность, внешний блеск, церемониальные празднества и торжества, но также и мелкие придворные интриги.

«Принцесса Виртембергская, в качестве великой княгини или императрицы, будет только женщиной и ничем больше», – писал тот же дипломат, бывший в это время французским поверенным в делах в России. Но он, в свою очередь, ошибся. В известной мере, – насколько ей это позволял ее ум, бесспорно не большой, – вторая София имела притязания на более видную роль. Во-первых, и прежде всего, она старалась быть на высоте своего положения, не зная в этом отношении ни минуты отдыха. Она с утра до вечера была затянута в парадное, церемониальное платье, принуждая к тому же всех своих приближенных: она не забывала об этом требовании по отношению к себе и другим даже при самых интимных подробностях своей домашней жизни. «То, что утомляет других женщин, – пишет Головкин, – ей нипочем. Даже во время беременности она не снимает с себя парадного платья, и между обедом и балом, когда другие женщины надевают капот, она, неизменно затянута в корсет, занимается перепиской, вышиванием и иногда работает даже с медальером Лампрехтом».

Великая княгиня занималась искусством, – вернее всеми искусствами или почти всеми, – без большого успеха, но ревностно, и работы ее бывали довольно милы. Она не пренебрегала шитьем и вышиванием, – ненавистными для первой Софии, и исписала целые тома корреспонденции, к несчастью, уничтоженной. По сохранившимся отрывкам ее можно судить однако о ее крайнем многословии. Своим мелким почерком близорукой она записывала, кроме того, все свои впечатления в дневник, тоже не избегнувший аутодафе, устроенного по приказанию императора Николая Павловича. По примеру родителей, она устроила в Павловске литературный кружок, и так как Павел обожал театр, то исполняла кстати и обязанности импресарио. Тут же, в Павловске, она возводила постройки, разбиwała сады в подражание идиллии родительского дома. Сверх того, она умудрялась уделять много времени благотворительным и воспитательным учреждениям, которые до сих пор носят ее имя, что дало повод Карамзину сказать, что она была бы превосходным министром народного просвещения. Он преувеличивал. Пожалуй, она была бы превосходной школьной учительницей. Да и тут приходилось бы относиться очень снисходительно к ее урокам орфографии.

Благотворительными заведениями, как и вообще всеми своими делами, она управляла с большим рвением и с искренним желанием сделать лучшее. Однако она невольно проявляла при этом мелочность, придирчивость и бестактность своего ограниченного ума, а также свой пылкий, хлопотливый и крайне беспокойный характер, заставлявший ее постоянно вмешиваться в вопросы, в которых она понимала еще меньше, чем в правописании и в грамматике. Вследствие этого, несмотря на большие свои достоинства, она часто становилась невыносимой – даже самым близким ей людям.

При жизни Екатерины она стояла совершенно в стороне от государственных дел, в которых и Павел не принимал никакого участия; зато она вступалась во все ссоры матери с сыном, придавая им, – может быть, совершенно против воли – излишнюю лихорадочность и резкость. Но по восшествии своего мужа на престол она сперва робко, а потом все более и более решительно стала стремиться к политической роли, а после смерти Павла, в минуту общего замешательства, чуть было не пошла по стопам вдовы Петра III.

Она решила, что у нее такой же государственный гений, как и у покойной императрицы, и начала подавать сыну советы относительно всех дел, вечно критикуя, выговаривая и брюзжа на все без разбору. Любящая и преданная мать, она была грозой своих детей. Для ее замужних дочерей пребывание в Павловске становилось тяжелым испытанием. А когда она выражала желание отдать им визит, то они считали это почти катастрофой!

Как многие, даже менее ее одаренные, женщины, она была уверена, что сумеет всякого перехитрить. В 1781 году она хотела провести свою свекровь. Умирая от желания показаться при европейских дворах во всем своем величии в сопровождении мужа, она, чтобы получить разрешение императрицы на эту поездку, сделала вид, что хочет послужить целям ее политики. Поэтому она указала на Вену, как на первую остановку в будущем путешествии, хотя была намерена, едва переехав границу, сейчас же повернуть на Берлин. Но подруга Вольтера и бывшая партнерша Фридриха, искушенная в игре с ним, не дала, конечно, поймать себя на удочку. Екатерина была рада хотя бы на время избавиться от вечно фрондирующей и всем недовольной великокняжеской четы. Но, разрешив сыну и великой княгине отправиться в путешествие по Европе, она сама наметила им его маршрут.

С другой стороны, великая княгиня никогда не упускала случая подчеркнуть с ненужной жестокостью безупречность своего поведения в сравнении со слабостями своей свекрови. Это не мешало, однако, Марии Федоровне, как ее теперь называли, без стыда ухаживать за Потемкиным и другими фаворитами. Впоследствии она каждый раз искупала эту сделку с совестью усиленными сценами оскорбленного целомудрия и демонстративными выходками, порицавшими поведение Екатерины.

Несмотря на это, или именно благодаря этому, она и Павел были сначала идеальными супругами, и Мария Федоровна имела на мужа довольно сильное влияние, бывшее долгое время благодетельным. Возможно, что она злоупотребляла этим влиянием, как уверяет злой язычок Головкина, чтобы служить своим друзьям и вредить врагам; но Павел был счастлив своей семейной жизнью – насколько он только мог быть счастлив при своем характере – и совершенно поглощен ей. Уже в 1777 году Мария Федоровна обрадовала его рождением наследника, которого он ждал долго и нетерпеливо, и он готовился отдать себя безраздельно воспитанию сына.

Екатерина сделала неоспоримую ошибку, помешав ему в этом благом намерении. Она сама пострадала когда-то в своем неудавшемся материнстве, став жертвой непростительного злоупотребления властью со стороны Елизаветы. И тем не менее, как у нее когда-то отняли ее сына, так и она пожелала отнять теперь у Павла его ребенка, и притом под тем же предлогом: она думала, что лучше сумеет воспитать его. Это обычное оправдание всякого деспотизма.

Но это создало лишь новый предлог для враждебности между ней и Павлом. Родители восстали против системы Локка, которую бабушка хотела применить к воспитанию их сына. И они не совсем были неправы, так как одним из следствий этой педагогической системы было то, что сын их, будущий император Александр I, стал совершенно глух на одно ухо и плохо слышал на другое: Екатерина хотела, чтобы он с самого раннего детства приучился к грохоту пушек! Взятый ею в учителя Александра и его младшего брата Константина швейцарский якобинец, Цезарь Лагарп, тоже крайне не нравился родителям. Да и самой Екатерине пришлось раскаяться в этом выборе, плохо согласовавшемся с другими воспитателями, тоже назначенными ею. Во главе их стоял Николай Салтыков, «род неуклюжей обезьяны», – как его описывает Ланжерон, – «кривоногий и горбатый». Однако Салтыков, по-видимому, не вполне заслуживал пренебрежения, с каким к нему относится этот писатель. В 1761 году он храбро сражался под Кольбергом; в 1812 г. он содержал на свой счет целый полк народного ополчения и в следующем году, в отсутствие Александра Павловича, исполнял в своем роде обязанности регента. Не может быть, чтобы он был исключительно тем низкопоклонным и глупым придворным, каким его изображают современники. Он был безусловно приверженцем сильной власти и самого неограниченного самодержавия и имел на своего воспитанника влияние, которое часто брало верх над совершенно противоположным влиянием Лагарпа: этим и объясняется немало противоречий в изумительной жизни будущего сторонника республиканских идеалов и организатора Лейбахского конгресса.

В лице Салтыкова Екатерина хотела установить род противовеса Лагарпу, и также угождать своему сыну и невестке, которые в момент назначения Салтыкова относились к нему благосклонно.

Она вполне предоставила зато Павлу и его супруге воспитание их младших детей и ограничилась лишь тем, что назначила воспитательницей их дочерям – и на этот раз ее выбор оказался очень удачен – превосходную Шарлотту Ливень, благородство ума и сердца которой обезоруживало самое Марию Федоровну.

Александр же с самых ранних лет был в нравственном отношении совершенно сбит с толку, очутившись в руках Салтыкова и Лагарпа. Впрочем, не это было худшим последствием воспитания, данного Екатериной двум старшим великим князьям, а то, что они стали столь же чужды своему отцу, как сам Павел был всегда чужд своей матери.

«Мой отец, – писала впоследствии великая княгиня Анна Павловна, – любил, чтобы мы его окружали, и звал нас к себе, Николая, Михаила и меня, играть у него в спальне, пока его причесывали: это было его единственное свободное время. Особенно часто это бывало в последние годы его жизни. Он был нежен и так добр с нами, что мы любили к нему ходить. Он говорил, что его удалили от старших детей, отняли их у него, как только они родились, но что он хочет видеть младших детей возле себя, чтобы ближе их узнать».

Павел любил детей, которых знал, как и мать его любила Александра и Константина. Тогда как по отношению к родному сыну материнский инстинкт, разрушенный разлукой, почти молчал в Екатерине.

По мере того как Александр рос, отец и сын становились друг другу все более далеки. Павел считал кротость Александра слабохарактерностью, а его сдержанность лицемерием, в чем он, впрочем, не слишком удалялся от истины. Якобинство Лагарпа еще усиливало разлад между ними, переноса его на политическую почву, хотя Александр, увлекавшийся явными химерами швейцарского революционера, был в действительности далек от них сердцем. В этом отношении разница между учеником Лагарпа и учеником Панина и Плещеева могла быть только в оттенках. В самом Павле было немало характерных черт якобинца: те же либеральные идеи, приспособленные к тем же деспотическим инстинктам. А с другой стороны, и Александр находил в Гатчине большое для себя развлечение. Между уроками гуманитарной философии он, как и отец, с удовольствием играл в солдатики, и грубый распорядитель этих воинственных забав, Аракчеев, стал постепенно соперником Лагарпа.

Таким образом Павел отвоевал себе отчасти сына; но характер его не мирился на половине: он требовал себе всегда всего, безраздельно, и его отношения к Александру мало изменились поэтому к лучшему.

Тем временем разлад Павла с Екатериной становился все более глубоким, и это начинало отражаться даже на семейном кругу Павла, на тех детях, по отношению к которым он мог свободно проявлять свои чувства. Его ссора с матерью повсюду влекла за собой горе и разрушение. Великий князь с каждым днем делался все нервнее, переноса раздражение на своих близких, постепенно уничтожал и то счастье, которое ему было прежде доступно в семье. Это было его первое несчастье, за которым вскоре последовали и другие. В какой мере. Екатерина была виновна в них?

IV

«Пусть Агриппина не едет никогда в Тибуру без своего сына, пусть сын ее никогда не возвращается оттуда без нее». Написав эти строки в 1774 году, после своего возвращения из России, Дидро думал, что верно понял характер и причину семейной драмы, которую ему пришлось наблюдать. Но, как и большинство его современников, ввела его в заблуждение

внешняя форма отношений между матерью и сыном и ложный взгляд на эти отношения, который даже теперь разделяется многими людьми выдающегося ума.

Русская Агриппина очень мало походила на свой римский образец. Она, правда, не пожелала устраниться, чтоб предоставить сыну царствование или управление страной, но в остальном сделала все зависящее от нее, чтобы создать ему приятную жизнь. Павел имел роскошное помещение в Зимнем Дворце и в Царском Селе, дачу на Каменном Острове, а впоследствии две летние резиденции, Павловск и Гатчину, предоставленные ему в его полное распоряжение, кроме того, он получал 175000 рублей в год для себя лично и 75000 для своей жены, не считая денег, отпускаемых на штат его двора. Таким образом, с материальной стороны он был обставлен очень прилично. Если, несмотря на это, он постоянно отчаянно нуждался в деньгах и, чтобы раздобыть их, прибегал даже к таким постыдным средствам, как соглашение с поставщиками императрицы, то это объяснялось тем, что управляющий нагло обворовывал его, бедные родственники Марии Федоровны его обирали, и сам он разорялся на бесполезные постройки и тратил безумные деньги на свою дорогую и смешную игрушку, – Гатчинскую армию. А может быть, ему чего-нибудь стоила и политическая пропаганда, к которой его обязывало положение претендента.

В нравственном же отношении, говоря о чувствах Екатерины к сыну, надо различать две эпохи. В то время, когда Порошин принимал участие в воспитании великого князя, т. е. когда Павлу было десять-одиннадцать лет (от 20 сентября 1764 года до 13 января 1766 года), он жил с матерью, сопровождал ее на большие и на малые приемы при дворе, на маневры и на охоту. Она присутствовала на его экзаменах, радовалась его успехам, купила для него у И. А. Корфа прекрасную библиотеку в 36000 томов, перешедшую затем в собственность Гельсингфорского университета. Она выражала желание посвятить его впоследствии в дела управления, – и сдержала слово. В 1773 году, при вступлении великого князя в первый брак, Екатерина письмом, составленным в самых нежных выражениях, приглашала его приходиться к ней раз в неделю, чтобы слушать чтение докладов.

Существует мнение, что, решив не допустить фактического участия цесаревича в ведении дел, Екатерина смотрела на эти еженедельные доклады просто, как на своего рода добавочные уроки к тем, что Павлу давали его учителя. Но Павлу не было в это время и двадцати лет. А в эти годы уроки, данные при таких условиях и таким учителем, как Екатерина, были бы очень полезны и для менее юных учеников. Но как бы то ни было, вместо того, чтобы учиться, Павел захотел учить сам. Из претендента он превратился в реформатора.

В первый же год он представил Екатерине длинное «Рассуждение»; отражая идеи обоих Паниных, оно служило суровым обвинительным актом против управления матери, против его принципов, приемов и направления. Автор «Рассуждения» хотел все переделать – и внутреннюю, и внешнюю политику императрицы. А одновременно с этим статс-секретарь императрицы и будущий канцлер Павла, Безбородко, пришел к заключению, что участие великого князя в трудах ее величества не приносит хороших плодов: Павел ничего не понимает в делах, и каждый доклад дает ему лишь повод к неуместной критике.

Итак, этот опыт пришлось оставить; однако Екатерина не хотела обречь своего сына на праздность. Она временно отказала ему в доступе в Совет, которого он добивался, но назначила его генерал-адмиралом и дала ему таким образом возможность заняться серьезным делом. Он не воспользовался этой возможностью и, пренебрегая основными интересами ведомства, во главе которого был поставлен, обращал внимание только на самые ничтожные пустяки – в жизни флота, так как по самой природе своего ума и характера не был способен на полезную деятельность, что доказал впоследствии, вступив на престол, кроме того, его поглощали другие заботы.

Как претендент на престол, он прежде всего стремился к тому, чтобы подготовиться теоретически к исполнению своих будущих обязанностей. С этой целью он не только запол-

нял толстые тетради цитатами из записок кардинала Реца или Сюлли, но составил проект бюджета на 1786 год, как будто рассчитывал применить его к делу. В 1778 году он обсуждал с Петром Паниным план военной реформы, составленный с тем, чтобы немедленно провести ее в жизнь, и даже заготовил четыре года спустя, с тем же Паниным, манифест на вступление на престол: причем оба автора манифеста, хуля Екатерину и, наверное того не подозревая, воспроизводили стиль и тон французских памфлетистов того времени, боровшихся с правительством Людовика XVI.

Несмотря на это, в той мере, в какой она это находила возможным, Екатерина считалась с требованиями цесаревича. В 1782 году, если не раньше, она назначила Павла членом – не Государственного Совета, где он слишком публично играл бы роль революционера, – но своего частного Совета, в котором он продолжал «ничего не понимать в делах».

Таким образом Павел, жаловавшийся одному из своих зятьев, герцогу Петру Ольденбургскому, на то, что его превратили в «призрак» и поставили его «в постыдное положение», был сам в этом виноват. Он сам, благодаря своему неуместному честолюбию, играл роль грозного призрака по отношению к Екатерине. Правда, он отрекался от того, что у него есть какая-то партия, но, вечно волнуясь, критикуя, поднимая вокруг себя нежелательный шум и заявляя громко, во всеуслышание, что все в России идет скверно, он – желая того или нет, – невольно создавал себе партизан, готовых ловить его на слове и агитировать в его пользу. Не настолько серьезно, положим, чтобы тревожить Екатерину, но достаточно назойливо, чтобы раздражать ее.

Еще в 1764 году прусский посланник, граф Сольмс, упоминает о заговоре в пользу цесаревича. О таком же заговоре говорится и в депеше австрийского посланника, князя Лобковица, посланной в Вену в 1772 г. А в следующем году на сцену выступил уже Пугачев. Павел не принимал, конечно, участия в поднятом им бунте; но в своей штабквартире, в Бердской Слободе, лже-Петр III держал на почетном месте портрет цесаревича, и уверял всех, что взялся за оружие только во имя этого своего возлюбленного сына. Эта дерзость приводила Павла в негодование; однако, в том же году голштинiec Сальдерн увлек его в темную интригу, преследовавшую совершенно ту же цель и не менее революционным путем. Была ли это простая опрометчивость со стороны Павла? Возможно. «Я могу утверждать, – писал около этого времени английский поверенный в делах Ширлей, – что у него (Павла) не достает ни храбрости, ни даже решимости, чтобы выступить против евоей матери».

По темпераменту своему Павел прежде всего был человеком действия. Отсюда и его нетерпеливость. Он страшно торопился перейти от замыслов к делу. Но на дело у него не хватало смелости. И, терзаясь между страстным желанием власти, толкавшим его вперед, и страхом, удерживавшим его, он не находил иного выхода, как предоставить временно действовать другим. Подобно всем претендентам, он сгруппировал таким образом вокруг себя всех недовольных существующим царствованием, всех тайных врагов Екатерины.

В 1773 году Лобковиц объявил своему двору, что Павел сделался «кумиром народа»; в 1775 году, когда Екатерина, раздавив Пугачева и победив Турцию, поехала в Москву, чтобы принять благодарность от своих верноподданных, то народ больше всего приветствовал Павла. Восторженно настроенная толпа устроила ему шумную овацию, и коварный друг Андрей Разумовский успел шепнуть ему на ухо лукавые слова.

– Ах! Если бы вы только захотели!

Павел не остановил его.

Два года спустя он нашел идеальное семейное счастье со своей второй женой; но внутреннее умиротворение, вызванное этим счастьем, было непродолжительным. Сама его семейная жизнь, благодаря тем чистым радостям, которыми он в ней наслаждался, делалась явным и раздражающим укором для его матери, – хотя на этот раз Павел был в этом совершенно неповинен. Екатерина переживала в это время с Потемкиным самую яркую, но не самую

благовидную главу своего романа. Приблизив к себе будущего князя Таврического, она незадолго перед тем обратилась к нему с «*Чистосердечной исповедью*», вышедшей недавно в виде добавления к русскому изданию ее «Записок» и, в смысле бессознательного цинизма, не имеющей, пожалуй, ничего себе равного в литературе всех народов. Новый фаворит позволил себе сказать ей, что у него было *пятнадцать* предшественников. На это она, устанавливая точный счет, возражала ему в своей «Исповеди», что их было только *пять*. Она набрасывала при этом их портреты, разбираала их достоинства, объясняла, почему каждый из них нравился ей, и оправдывалась в той неудержимой потребности, которая заставляла ее менять их одного за другим!

Павел наверное не читал этого документа. Однако факты, о которых там говорилось, были ему достаточно известны, чтоб вызывать в нем горечь и стыд. А между тем эти чувства почти незаметны в том гневе и злобе, с какими он относился к Екатерине. Да и в самом Потемкине он ненавидел и клеймил не любовника матери, но прежде всего политического сотрудника императрицы.

В Вене, в 1781 году, первые колкие речи, с которыми выступил Павел, начиная объезд Европы, были направлены исключительно против правления его матери и ее «пособников», но не против героев ее романов. «Как только у него будет власть приказывать, он разгонит их всех хлыстом», – говорил он. И по тону его речей можно было подумать, что это разглагольствует во Франции того времени какой-нибудь оратор в кафе, громя министров короля или придворных фаворитов.

Впрочем, в борьбе с политикой матери и Иосиф II, как известно, не гнушался советоваться с Маратом.

В Неаполе Павел старался унижить законодательную деятельность Северной Семирамиды. «Какие могут быть законы в стране, где царствующая императрица остается на престоле, попирая их ногами!»

Те же речи он держал и в Париже, уверяя, что он не смеет завести себе верного пуделя, потому что его мать велела бы все равно потопить собаку.

Все эти выходки и прочее злословие по адресу «кривого» (Потемкина) и его любовницы дошли до Екатерины через переписку самого Павла, которую он вел во время своего путешествия, под прикрытием двух друзей, – П. А. Бибикова и князя Александра Куракина. Но Екатерина ограничилась лишь очень незначительным наказанием этих двух посредников, – простой ссылкой, – и в результате обиженным во всей этой истории считал себя все-таки сам Павел. В то же время, встречая всюду на пути самое лестное внимание, что очень нравилось ему, он, по-видимому, не отдавал себе отчета, кому и чему он обязан подобным приемом.

Возвратившись в Россию, он стал подчеркивать еще резче, – и на этот раз по преимуществу в области внешней политики, – свою предвзятую и непримиримую оппозицию Екатерине. Между тем императрица как раз в это время изменила курс иностранной политики, освободившись, наконец, от той полузависимости, в которой гений Фридриха и раздел Польши держали ее по отношению к Пруссии в продолжение восемнадцати лет. Зародился греческий проект, и вместе с ним возник союз с Австрией. Мария Федоровна, которой льстил обещанный ей брак ее сестры Елизаветы с эрцгерцогом Францем, наследником Леопольда II, примирялась с этой переменной. Но Павел остался верен Пруссии. Он обменялся с преемником Фридриха клятвой вечной дружбы и вошел с Берлином в тайные сношения, очень близко напоминавшие измену. Он пробовал даже подкупить одного из дипломатических агентов Екатерины в Германии, графа Н. П. Румянцева! Его близкие и он стояли Екатерине поперек дороги во всех ее замыслах. При этом Павел не переставал жаловаться на свое положение и продолжал интриговать, правда, только платонически, согласно своему нраву.

В Швеции брат Марии Федоровны, Фридрих, наделал Екатерине больших хлопот. Назначенный Выборгским губернатором, он воспользовался этим, чтобы завязать подозрительные сношения со своими ближайшими соседями. Кроме того, он дурно обращался со своей женой принцессой Брауншвейгской, знаменитой своими злоключениями под прозвищем *Зельмиры*; Екатерина, выведенная из терпения, кончила тем, что прогнала мужа и взяла жену под свое покровительство. Сейчас же Павел и Мария Федоровна восстали против нее. А когда, отправленная в замок Лоде в Эстляндии, *Зельмира* стала здесь жертвой какой-то темной любовной интриги и кончила таинственной смертью, то это дало им повод лишь к новым попрекам.

В 1787 году союз с Австрией вызвал войну России с Турцией. Павел, как сторонник мира и враг австрийцев, восстал против этой войны. Тем не менее, он пожелал принять в ней участие, и Мария Федоровна, хотя и была беременна в это время, решила его сопровождать! Новые споры. Гнев Павла и обращение к общественному мнению: «Что скажет Европа?»

В следующем году, когда началась война со Швецией, а Мария Федоровна разрешилась от бремени, Екатерина не стала больше удерживать опять рвавшегося в бой Павла. Павел стал общим посмешищем армий своим видом победителя, хотя он не совершил никакого подвига, а напротив, с ним произошла схватка холерины от перепуга во время ночной тревоги. Кроме того, он сделался еще предметом неуместных авансов со стороны неприятеля. Пришлось вернуть его в Петербург, где он начал выказывать еще больше раздражения, возмущения и неприязни, чем до отъезда на театр военных действий. Он вступил в зашифрованную переписку с новым прусским королем, Фридрихом-Вильгельмом II, которого Екатерина терпеть не могла и называла «le gros Gu, le Lourdaud». Затем вошел в секретные сношения с прусским посланником, графом Келлером, и тот вынес впечатление, что «если бы великому князю пришлось позаботиться о своей безопасности, или если бы народ избрал его единогласно императором, то он не отказался бы исполнить желание народа».

Таким образом, – по крайней мере мысленно, если не на деле, – Павел все дальше подвигался по тому революционному пути, куда его увлекала роль претендента, и шаг за шагом шел по следам всех зачинщиков государственных переворотов в России. Но со своей стороны и Екатерина шла дорогой, которую ей предписывала забота если не о собственной безопасности, то об интересах страны, вверенной ей. Поскольку же дело касалось ее лично, она не боялась за себя, сознавая всю силу своего обаяния, и в двух шагах от Царского, где у нее не было и ста человек охраны, позволяла сыну держать возле себя тысячи солдат. Но мало-помалу ее стало мучить сознание другой опасности, грозившей государству.

V

Еще в 1783 году она произнесла многозначительные слова: «Я вижу, в какие руки попадет империя после меня... Мне будет тяжело, если моя смерть, как смерть императрицы Елизаветы, повлечет за собой перемену всей политической системы России». И по мере того, как Александр подрастал, эта забота о наследнике принимала у нее все более реальную форму. Она все чаще стала связывать будущее великой России с «маленьким носителем еще зеленого венца», как она называла сына Павла. При этом она замечала, что ни в физическом, ни в нравственном отношении Александр не походит на своего отца. Когда разразилась французская революция, она написала: «Придет новый Чингисхан или Тамерлан, чтобы образумить этих людей, но это будет не при мне, и, надеюсь, не при Александре». О Павле она не упоминала вовсе; мысленно она уже устранила его. И дуэль между матерью и сыном вступила в новую фазу.

Павел, разумеется, знал о намерении Екатерины. В январе 1787 года, готовясь принять участие в турецкой кампании, где ему тоже не было суждено сорвать лавров, он напи-

сал духовное завещание и передал его своей жене. Он предусматривал в нем возможность как своей собственной смерти, так и кончины Екатерины. Если бы это случилось во время его отсутствия, то Мария Федоровна объявлялась регентшей и должна была, прежде всего, завладеть всеми бумагами императрицы и приостановить все политические распоряжения, которые могла оставить после себя покойная.

Но и Екатерина приняла свои меры предосторожности. Она заставила своего секретаря Храповицкого прочесть ей «пассаж» из «Правды Воли Монаршей» Петра Великого относительно престолонаследия и указать ей, как этот закон применялся на деле со времени Екатерины I. Немного позже она составила записку о причинах, заставивших Петра лишиться права на престол своего единственного сына. В другой заметке, относившейся к греческому проекту, она распределяла наследственные права между Александром и Константином, как будто Павла не существовало вовсе.

Намерение обойти его сложилось твердо в ее уме. Имела ли она к тому законные основания? Право Павла на престол было несомненно, и императрица тем более должна была уважать его, что сама его создала. Павел был не только наследником, он был кроме того и претендентом и реформатором. Мы видели, как действовал первый. Теперь познакомимся со вторым.

Глава 2 Реформатор

I

Дух преобразований овладел в то время всей Европой. Все хотели проводить реформы или пользоваться ими. Но Павел был реформатором не потому, что придерживался какой-либо политической системы или принципов – в теории или на практике. Нет, он был реформатором по самому своему духу, характеру, темпераменту. Поэтому, чтобы понять его преобразовательные планы и мечтания, надо прежде всего изучить самую его личность.

«Сущность характера заключается в его превращениях... Характер всякого человека не только может изменяться, но находится в непрерывной эволюции... и естественным фактором этой изменчивости внутреннего существа человека служат полученные им впечатления». Павел, чрезвычайно впечатлительный с самого детства, является блестящим подтверждением этой формулы знаменитого психолога.

Во времена своего первого супружества он чуть было не сделался эпикурейцем. Его угрюмость и преждевременная желчность исчезли в обществе веселой Наталии Алексеевны и жизнерадостного Разумовского. Он «взял себе за правило жить со всеми дружелюбно»... Отсутствие иллюзий, отсутствие беспокойства, – писал он про свое настроение, – ровное и отвечающее лишь обстоятельствам, которые могли бы встретиться. Я обуздываю свою горячность насколько могу».

Он отдыхал и развлекался с молодой женой. Но эта беспечная жизнь вскоре ему надоела. Он не был по природе жуиром; во-первых, он был для этого слишком серьезен; во-вторых, его постоянно мучила мысль о выпавшей ему на долю великой роли. И не прошло нескольких месяцев, как он вернулся к прежним занятиям и заботам. Наталия Алексеевна продолжала, впрочем, иметь на него влияние и сумела пристрастить его к французской литературе. Однако Павлу нравились далеко не все излюбленные писатели того времени. Например, Дидро, который как раз в то время приехал в Россию, пришелся ему не очень по вкусу. Может быть, потому, что Екатерина ценила слишком высоко представителя западной культуры. Во всяком случае Павел находил, что «лесть его» (Дидро) слишком тяжеловесна, энтузиазм слишком глубок, и колени гнутся слишком охотно». Но когда через некоторое время он пожелал вступить в переписку с каким-нибудь известным писателем, согласно моде того времени, то он стал подыскивать себе корреспондента во Франции, а не в другой стране. В течение пятнадцати лет, с 1774 до 1789 года, эту обязанность исполнял для него второй Лагарп, – с улицы Saint-Honoré.

Но Лагарп старался напрасно. Лет через пять в Павле произошел новый переворот, и парижские письма потеряли для него всю прелесть. В Берлине, куда он поехал, чтобы встретиться со своею второй женой, он увидел, наконец, своего кумира и был им пленен. Нельзя сказать, чтобы он единственно своей личностью покорил великого Фридриха. «Я причисляю к величайшим одолжениям, каким обязан вашему императорскому величеству, то, что вы доставили мне знакомство с принцем, полным совершенств... Его обхождение – с людьми, чувства и добродетели восхитили мое сердце», – писал король Екатерине после этого свидания. Но вот что философ из Сан-Суси занес, – должно быть, в тот день – в свои «Записки»: Он (Павел) показался мне высокомерным и необузданным, и все знающие Россию боятся, как бы его не постигла та же участь, что и его несчастного отца».

Но восхищение Павла Фридрихом было искренним, и следствием этих восторгов явилась Гатчина. Германия, или вернее Пруссия, с ее железной дисциплиной и солдатской муштрой казалась ему примером, достойным всякого подражания. Он стал даже с удовольствием припоминать, что в жилах его, собственно говоря, течет очень мало русской крови. Когда он был ребенком, эта истина была так мучительна для него, что он приходил в неистовство всякий раз, когда ему на нее намекали.

– Какой я немецкий принц, я великий князь Российский! – кричал он.

В 1767 году мать отказалась за него от его прав на Шлезвиг, и он отнесся к этому равнодушно. А теперь даже царствование Петра III казалось ему идеальным, и он мечтал продолжать дело отца, прерванное Екатериной. Он так влюбился в порядок, методичность и регламентацию, что даже для невесты составил Инструкцию в четырнадцать пунктов, касавшихся не только религии и нравственности, но и подробностей туалета. А в переписке с П. И. Паниным и Н. В. Репниным он, оставаясь по-прежнему пацифистом, а следовательно антимилитаристом, набрасывал план реформ, – он их провел впоследствии в жизнь, – которые должны были наложить печать милитаризма на весь строй государства!

Некоторые историки удивляются тому, что связь между замыслами молодого реформатора и его позднейшими преобразованиями сохранилась, таким образом, через очень длинный промежуток времени. Было бы удивительно, если бы этой связи не существовало. Гениальные реформаторы не выказывают обыкновенно такого постоянства в своих идеях, когда им приходится осуществлять их на деле: это происходит потому, что они работают практически в области относительного. А Павел работал теоретически в области абсолютного. Кроме того, он не менял сущности задуманных им реформ, потому что не менял цели, которой хотел ими достигнуть; цель же эта заключалась в том, чтобы подражать Фридриху II, следовать по стопам Петра Великого, продолжать работу Петра III, но в сущности просто делал противоположное всему, что делала великая Екатерина. Впрочем, и тут Павел далеко не выказал той последовательности, какую ему приписывают. Подвижность его мысли, его слабохарактерность и непостоянство всего его существа мешали ему выработать общий план действий и придерживаться в подробностях основных решений.

В области внешней политики завоевательные планы Екатерины были почти безграничны по своему размаху, и новые предприятия, войны и вмешательства России в дела других государств следовали одни за другими: Павел решил поэтому, что Россия не должна разбрасываться, а должна собираться с силами и обрабатывать свой сад, как Кандид. Таков был его лозунг еще при его восшествии на престол. Сам же он противоречил себе: незадолго перед тем настаивая, чтобы мать подавила французскую революцию при помощи пушек, он вскоре попробовал сделать это собственными силами. В последний год царствования он готов был вступить в борьбу со всей Европой и собирался отвоевать Индию у англичан!

Дело в том, что хотя он и стремился занять место среди «просвещенных» государей своего времени, влюбленных, как Фридрих II или Фердинанд Брауншвейгский, в философию, но в сущности в нем сидел тот беспокойный дух, что в Робеспьере, Дантоне и Бонапарте.

В области же внутренней политики, видя борьбу разнородных этнических и культурных элементов, к которой привел Россию ряд аннексий, он надеялся не только примирить, но вовсе уничтожить антагонизм различных частей населения. И средство, при помощи которого он рассчитывал произвести это чудо, было буквально то же, каким пользовались французские революционеры того времени. Формула этого средства была заимствована у Монтескье, у Руссо и даже у Марата: равенство перед законом; порядок при свободе; основательное воспитание, которое должно прививать массам эти принципы; развитие промышленности и торговли; ответственная администрация, опирающаяся на власть не господствующего класса, но государя, «одинаково доброго для всех»... Одним словом: старая песня.

В качестве противника Екатерины, Павел ненавидел энциклопедистов, но, как реформатор, заимствовал у них их учение и их терминологию. Подобно самым крайним последователям западной революционной школы, он тоже мнил себя филантропом и заботился о крестьянах. Он считал их кормильцами всех других сословий и хотел улучшить их положение: крепостного права он не собирался отменить, потому что Петр III не имел этого намерения; но решил «улучшить состояние приписанных к заводам крестьян» и «облегчить судьбу» остальных. Землю, как источник всякого богатства, он хотел «освободить от чрезмерного отягчения», думая, что достигнет этого легко, приводя в равновесие доходы и расходы казны: а для избежания ошибки в исчислении доходов с земледелия и промышленности, иметь в виду для первых – «возможность и допустимость» и для вторых – увеличение их путем покровительства.

Уже в 1780 году он рисует эти прекрасные перспективы в проекте «основных законов», дошедшем до нас черне. Он упоминает о них также в другом Наказе, данном Марии Федоровне на тот случай, если бы ей пришлось быть регентшей. Все его планы носят характер общей неопределенной теории; в них нет ни одного практического, точного указания.

Павел желал преобразовать всю жизнь своего государства, не зная однако, с чего начать. Но тут к нему пришло на помощь его положение претендента. Очевидно, надо прежде всего устранить основное беззаконие, от которого в России происходят все остальные, и жертвой которого является сам Павел, естественный наследник Петра III. Законность невозможна в стране, где преемство верховной власти не подчинено никакому закону.

Итак, *Указ о престолонаследии* должен лечь в основание всех будущих реформ. В этом отношении Павел сошелся во мнении с самыми свирепыми из членов французского Конвента, бывшими вначале убежденными сторонниками законной монархии.

Написать *Указ* было недолго. А дальше что? Павел стал в тупик. Когда дело касалось престолонаследия, он мог прибегнуть к помощи Марии Федоровны: в вопросах наследственных прав и всяких прерогатив она была бесспорным авторитетом. Но в политике она решительно ничего не понимала, а остальные сотрудники будущего государя были в этой области немногим опытнее ее. В силу ли своих природных способностей или вкусов, они могли быть полезны Павлу только на Гатчинском плацу; сюда-то все больше и больше начинало манить и самого великого князя. В конце концов он, вместе с Петром Паниным и Репниным, нашел ключ к будущим своим реформам именно на этом плацу.

Разве правильно организованная армия не является лучшей средой для развития дисциплины и чувства законности? Служа в армии, дворянство невольно проникается этими чувствами и затем прививает их массам. Оба советника Павла старались убедить его в правильности этого взгляда. Под их внушением он пришел к заключению, что впереди всех преобразований должна идти радикально задуманная и выполненная военная реформа.

Но дворянство, освобожденное Петром III от обязательной службы, бежало из армии. Оно сохраняло свои привилегии и уклонялось от обязанностей, за которые первоначально ему и были даны его права. Новое затруднение. Очевидно, необходимо восстановить равновесие и точно распределить права и обязанности на всех ступенях общественной лестницы. Но как это сделать? Отменить льготу, данную Петром III? Нет, это невозможно. Павел в отчаянии не находил выхода из создавшегося положения. Но затем, возвратившись на свой плац, он решил, что, лично руководя учением и сделавшись первым солдатом своей армии, принимая непосредственное участие не только в парадах, но и в ежедневной тяжелой работе войска, он сделает военную службу более привлекательной в глазах дворянства и таким образом вернет ей беглецов.

Однако и тут ему приходилось бороться с противоположными влияниями. Он благоговейно выписывал аксиомы Монтескье в свою записную книжку, перефразируя их на свой

лад: «Первое качество солдата – сила и здоровье. Офицер, который ослабляет силы своих подчиненных, Мучая их или нанося им побои, повинен перед Богом в убийстве».

«И заслуживает наказания», – прибавлял Павел пророчески от себя. Но, кроме автора «*Esprit des lois*», у него были еще другие учителя военного искусства, Аракчеевы и Штейнверы, и, видя, как они бьют рекрутов кулаками и палками, он заражался их примером и сам начинал бить солдат или приговаривать их к шпицрутенам. И до конца жизни он не мог выйти из этого противоречия.

По временам, мучаясь этим противоречием, он придумывал – или сам, или под внушением других – удивительные средства, чтобы как-нибудь вырваться из него. Он хотел, например, воспользоваться своими правами германского принца и производить рекрутский набор в Германии: таким путем побои и розги доставались бы на долю одних иностранцев. Или он мечтал, вместе с Паниным и Аракчеевым, о военных поселениях, ставших впоследствии одним из главных предприятий и одною из главных ошибок царствования Александра I. Или, наконец, набрасывался на гвардию, желая уничтожить ее привилегии, оскорблявшие в нем его любовь к равенству, и также ее политическую роль, которая вызывала в нем неприятные личные воспоминания...

При Екатерине сержант гвардии выпускался в армию капитаном, а капитан полковником. Дворяне записывали сыновей еще при рождении в гвардию сержантами, а при совершеннолетию им давался чин поручика *по выслуге лет*. Павел хотел постепенно свести на нет это ненормальное положение гвардии и уравнивать ее в правах с реорганизованной армией.

В хаосе идей, бродивших у него в голове, было несколько верных мыслей и полезных начинаний. Но и в них Павлом руководили противоположные побуждения. Инстинкт расы и исторические традиции взяли в нем постепенно верх над влиянием Запада. Павел принадлежал к народу, для которого война спокон веков была первым законом существования и развития. Таким образом, все его преобразовательные или либеральные мечтания привели в конце концов лишь к желанию военной реформы. Но путем этой же реформы он, как это ни странно, хотел положить также конец династическим кризисам и правлению женщин. Однако эта военная реформа, которая легла в основание всей программы его царствования, послужила главной причиной его гибели.

Сын Екатерины должен был вступить на престол, на котором ему предшествовал ряд женщин, императриц и регентш. Первым своим долгом он считал выдвинуть – в ущерб женщинам – принцип мужской власти. Принц де Линь сказал ему как-то, стараясь извинить императрицу в каких-то непорядках в управлении: «Ведь не может же женщина повсюду бегать сама, входить во все подробности...». Но Павел резко его оборвал:

– Конечно! Вот почему мой дрянной народ (*ma shienne de nation*) и желает того, чтобы им управляли только женщины.

Сам Павел решил входить во все подробности управления, как только достигнет престола. Но он упускал при этом из виду, что может совершенно запутаться в этих подробностях, что его ограниченный ум и слабая воля не выдержат упоения самодержавной властью.

Таковы были преобразования, задуманные Павлом. По мере того, как менялся он сам, они принимали новую форму. Проследим эту быструю эволюцию.

II

После поездки в Берлин в 1776 году, продолжительное путешествие по Европе в 1781–1782 гг. имело решающее влияние на кругозор Павла. На этот раз сам он произвел на Западе более благоприятное впечатление. В Вене все удивлялись серьезному и возвышенному складу его ума, его любознательности, простоте его вкусов. Он танцевал без увлечения, предпочитал балу хорошую музыку или хороший спектакль, но с тем, чтобы они не затяжи-

вались до ночи. Армия, флот и торговля интересовали его несравненно больше. К столу он был равнодушен, или, вернее, любил простую кухню. Он не признавал никаких игр. Это был человек строгой, воздержной жизни, – подобно Робеспьеру и другим корифеям революционной оргии.

Во Флоренции младший брат и наследник Иосифа II, Леопольд, нашел, что Павел очень умен, рассудителен, умеет здраво судить о вещах и идеях, быстро схватывает общий смысл явлений и их подробности, что он стремится к добру, и что в нем виден большой характер.

Большая *нервность*, – было бы правильнее сказать.

В Париже Павел произвел не менее выгодное впечатление на Людовика XVI и Марию-Антуанетту. «Великий князь очень понравился королю своей простотой, – писала королева. – Он, кажется, очень образован, знает имена и произведения всех наших писателей и говорил с ними, как со знакомыми, когда их ему представляли».

Но все заметили в то же время в Павле какую-то двойственность. Точно в нем было два человека: один старался играть с достоинством и блеском роль «принца, полного совершенств»; а второй сбрасывал с себя минутами эту маску и становился просто героем мрачной трагедии. Все восхищались чарующим обхождением Павла и его остроумием; но его любезность производила впечатление чего-то заученного, а веселость казалась напускной; ее нарушали на каждом шагу резкие выходки и горькие замечания. Павел сказал графине Хотек, что наверное не доживет до сорока пяти лет. В Вене, на парадном спектакле, устроенном в его честь, хотели было поставить одну из драм Шекспира, но актер отказался играть Гамлета: «В театре будут два Гамлета!» – сказал он. По той же причине представление *Jeanne de Naples* Лагарпа было запрещено в Париже во время пребывания *Графа Северного*.

Павел вынес из своего путешествия по Европе тоже двойственное впечатление. Почести и торжественный прием, который оказывали ему везде, относились, конечно, не к нему лично. Они относились к той великой державе, представителем которой он был, и к великой государыне, вознесшей эту державу до небывалого могущества и величия. Но Павел не понимал этого вовсе и не находил нужным считаться в своих чувствах и взглядах ни со страной, ни с императрицей, благодаря которым он сам приобретал значение в глазах Европы. Он просто проникся сознанием своей значительности, донельзя преувеличивая ее. Он увидел Европу у своих ног. И этого было достаточно, чтобы он уверовал, что она навсегда сохранит перед ним это униженное положение; на этом заблуждении он построил впоследствии всю свою внешнюю политику.

В то же время соприкосновение со старинными монархиями Запада пробудило в его беспокойной душе новые мысли и стремления. Версаль и Шантильи понравились ему не меньше Потсдама и Сан-Суси. Старый режим, его нравы, принципы, традиции – все это нашло неожиданный отклик в бывшем ученике Никиты Панина и Плещеева.

Так и в Бонапарте сказался впоследствии Наполеон. Но все чудесное и привлекательное, что Павлу пришлось увидеть и пережить в Европе, вызвало в нем еще и другое чувство: вернувшись в Россию, он почувствовал более остро ту ничтожную роль, на которую был обречен: «Мне вот уже тридцать лет, а я ничем не занят», – писал он. Эти слова были уже давно, его обычным припевом в разговоре и в переписке: «Германские дела очень запутаны... тяжело... смотреть на все это, не имея возможности действовать» или «Вы пишете о событиях в сфере политической, которые становятся с каждым днем все более интересны. Поздравляю вас, это для всех вас самое удобное время, чтобы отличиться; что же касается меня, то мне, по званию моему, не полагается знать в этом толк». Но теперь в жалобах Павла звучало больше горечи.

Он «ничем не был занят»? Вставая каждый день в 4 часа утра, поднимал он на ноги толпу секретарей, ординарцев, подчиненных. Под рукою у него была библиотека в 36 000

томов, он мог готовиться среди книг к будущим обязанностям государя: тем более что уверял всех, будто методически занят этой работой. Он мог строить широкие планы будущих реформ, которые, по его словам, были у него уже совершенно готовы, чтобы немедленно привести их в исполнение, когда придет желанная минута власти... Неужели всего этого было недостаточно, чтобы занять его время?

К несчастью, нет; по самому складу ума Павла, поле его умственной деятельности было чрезвычайно узко. Он не умел размышлять, анализировать, соображать. Каждое его впечатление сейчас переходило в импульс, и, подобно тому, как бывают люди, которым необходимо говорить, чтобы мыслить, так и Павлу, чтобы мыслить, необходимо было действовать. Поэтому и книги утратили для него вскоре всякий интерес. Мария Федоровна устраивала у себя после обеда чтения вслух, но не могла добиться, чтобы Павел на них присутствовал. Серьезные книги казались ему скучными; более легкие по содержанию – недостойными его внимания. Он с каждым днем все больше нервничал и раздражался, не находя исхода для своей энергии. И когда власть открыла наконец для его деятельности широкое поле, – не имевшее, как ему казалось, ни границ, ни преград, – он бросился в работу с той нерассуждающей, слепой страстностью, которая служит отличительной чертой всех честолюбцев.

В ожидании этой счастливой минуты он продолжал метаться между противоположными влияниями, не зная, куда направить свою волю и мысль. Руководителей возле него уже не было. Он постепенно растерял тех немногих близких ему людей, от которых соглашался прежде выслушивать иногда совет. Иные ушли от него; других он сам бросил. Петр Панин скончался в 1789 году; впрочем, он был для Павла авторитетом только в военных вопросах. Его брат Никита Иванович сошел в могилу шестью годами раньше. Но за последние годы воспитательства наставника и его ученика – великого князя уже не связывала прежняя тесная дружба. Старший Панин продолжал придерживаться принципов шведской конституции, занявшись перед смертью редактированием политического завещания. Оно разошлось в большом количестве рукописных экземпляров и должно было служить предисловием к проекту конституционной хартии, составленному Паниным еще в 1772 году. Павел когда-то тоже стремился к этому политическому идеалу, но потом далеко ушел от него и вместе с этим отвернулся и от Панина, оставшегося верным своему идеалу.

Но прежние либеральные стремления не совсем в нем заглохли; они сохранились где-то, в лучшей части сердца, и Павел удерживал возле себя Плещеева. Следствием этой дружбы явился моральный кризис и впадение в мистицизм.

Никита Панин еще в Швеции вступил в масоны. Плещеев, Н. В. Репнин и Александр Куракин также принадлежали к «вольным каменщикам». Брат Шведского короля, герцог Зюдерманландский, приехавший в 1777 году вместе с Густавом III в Петербург, стоял во главе шведских лож и дал сильный толчок к развитию русского масонства, повлияв, может быть, в этом отношении и на самого великого князя. С тех пор русские ложи стали числиться восьмым отделом братства и вошли в тесные сношения с прусскими ложами, председателем которых был дядя Марии Федоровны, принц Фердинанд Прусский. Вместе с прусскими масонами российские масоны подчинились влиянию Вельнера и некоторых других теософов, принадлежавших к секте розенкрейцеров, на них сказалось умственное движение, возникшее в то время в Германии. Торжество философского скептицизма приходило к концу и вызвало в обществе, в виде реакции, сильное религиозное рвение. Все искали веры; слушали хитрого и пылкого Лафатера и мистического Сведенборга. Это направление породило много тайных обществ; масонство тоже прониклось им, но сбилось при этом с пути. В компании иллюминатов, шарлатанов, вызывателей духов и алхимиков, оно позабыло о своей миссии терпимости и гуманности, в которой заключалась первоначально его задача, и даже отчасти отреклось от нее.

В Москве Новиков, основавший в 1792 году Дружеское Ученое Общество, заразился учением другого мистика, баварца Шварца. Он занялся переводом и изданием всего вороха поэтических и мистических сочинений, появившихся в Европе за последние два века, и через Якова Бёме и Филиппа Шпенера приблизился к учению Сведенборга и Сен-Мартена.

Сен-Мартен «с его возвышенными перспективами в области туманного и проблесками озарения среди облаков», как выразился про него Сент-Бев, нашел в Москве второе отечество. В 1786 году здесь возникла секта *мартинистов* и стала быстро расти. В 1790 году мартинисты приобрели в Москве собственный дом для устройства собраний; но, по доносу полиции, были обвинены в политической пропаганде и агитации. Они будто бы бросали между собою жребий, кому из них убить императрицу!

А между тем Павел с 1782 года, если не раньше, был причастен этому движению. Гроссмейстер главной московской ложи, князь Гавриил Голицын, считался одним из самых горячих приверженцев молодого великого князя. Секретная переписка, попавшая в руки Екатерины, показала ей, что Павел поддерживал непрерывные сношения с Новиковым и другими масонами первопрестольной, – и что его собирались даже избрать гроссмейстером ордена. Портреты, изображавшие его со всеми атрибутами масонства, уже циркулировали в обществе.

Как это часто бывает, донос полиции преувеличил и извратил факты. Новиков и его друзья не были цареубийцами, и, пожалуй, сама Екатерина не сомневалась в этом; но движение, во главе которого стоял Новиков, не могло не тревожить ее, так как с одной стороны оно было связано с освободительными и вольнодумными влияниями эпохи, а с другой поддерживало международные сношения, далеко не чуждые политике. Переписываясь с русскими последователями Шварца и Сен-Мартена, слишком многие из прусских принцев стремились привлечь к этому движению Павла.

Екатерина решила положить этому конец, – процесс 1792 г. привел Новикова в Шлиссельбургскую крепость и наложил темное пятно на славное царствование самой императрицы. Но Павла гроза миновала; преданные ему друзья выгородили его, а от остальных он сам, не колеблясь, отрекся, как в свое время отрекся от Сальдерна. Ему лично была даже предоставлена полная свобода придерживаться взглядов и обрядов масонства, за что другие пострадали столь жестоко.

При нем остался Василий Иванович Баженов, знаменитый московский архитектор, служивший Павлу посредником при его сношениях с ложами. Впоследствии, когда Павел разочаровался в масонстве настолько сильно, что отзывался о нем не иначе, как с насмешкой или глумлением, он все-таки сохранил на себе его отпечаток.

В его очень искренних религиозных чувствах всегда был оттенок экзальтированности. В письме к митрополиту Платону, в июне 1777 года, он возвещал ему о беременности своей жены в следующих выражениях: «Сообщу вам хорошую весть. Услышал Господь в день печали, послал помощь от Святого и от Сиона заступил: я имею большую надежду о беременности жены моей».

Он продолжал также переписываться с Лафатером и с самим Сен-Мартеном, бывшим, кстати, в Монбельяре постоянным гостем.

Вступив на престол, Павел немедленно освободил Новикова. К бывшим товарищам несчастного публициста он тоже отнесся очень милостиво и наградил их казенными местами и пенсией. Вместе с Новиковым они надеялись было сыграть около него выдающуюся роль. Но Ростопчин, завидовавший их влиянию, сумел ехидными инсинуациями и колкими насмешками дискредитировать их в глазах Павла.

Между тем сам Павел все больше вдавался в мистицизм, в обществе с Е. И. Нелидовой. Мистицизм и масонство, влиянию которых он был не в силах противостоять, довели его постепенно до полного исступления мысли. В Пруссии Вельнер, сделавшийся директо-

ром духовных дел, дошел до крайней нетерпимости и религиозного фанатизма и вступил в борьбу со свободой совести. А в России Павел стал страстным политическим фанатиком и объявил войну свободе мысли. Екатерине, относившейся снисходительнее к французским вольнодумцам, пришлось остановить его беспощадными словами:

– Ты лютый зверь, если не понимаешь, что с идеями нельзя бороться при помощи пушек!

Из ненависти к революции Павел сблизился с французскими эмигрантами, хотя их легкомыслие не могло не оскорблять его. Когда он заподозрил Берлинский кабинет в сношениях с революционным правительством Парижа, то из презрения к Берлину готов был даже отказаться от своих прусских симпатий и отречься от своих клятв. Ему при этом не приходило в голову, что якобинцы, которых он так ненавидел и хотел бы стереть с лица земли, были в сущности очень близки ему по духу, и что он чрезвычайно на них походил. Как они, он был идеалистом, признавал только абсолютное, жаждал власти, непременно деспотической, и стремился переделать всех людей на свой образец, досадуя, что не может немедленно приступить к этой работе: в реформаторских планах Павла и в нетерпении, с каким он стремился осуществить свои преобразования, сказалась несомненно не только его прирожденная нервность, но и приобретенная им во время его тяжелого детства и тот революционный психоз, которым тогда была заражена вся Европа.

Таково было умственное и нравственное состояние Павла, когда умерла Екатерина, и желанная власть наконец перешла к нему. За те короткие годы, когда он занимал престол, его нравственный облик принял уже вполне определенные черты, на которые мы сейчас и укажем.

III

«Что касается его лица, то не он его себе сделал; говорят, даже не его отец; поэтому было бы несправедливо упрекать его за это». Это колкое замечание Массона относится к внешности великого князя в его зрелые годы. Павел был очень некрасив: курносый, с большим ртом, длинными зубами, толстыми губами, сильно выдающимися вперед челюстями. Он рано облысел, и его лишенное всякой растительности лицо напоминало мертвую голову. У него был большой и круглый череп и короткое неуклюжее туловище, которому он напрасно старался придать достоинство и изящество в движениях. «Курносый чухонец с движениями автомата», будто бы сказал про него Чичагов.

Лица, расположенные к Павлу, старались однако отыскать в его уродстве привлекательные черты. Г-жа Ливен хвалила красоту его взгляда; выражение его глаз, по ее словам было «бесконечно приятно и кротко». Она указывает также на его «хорошие манеры» и на его «изысканную вежливость с дамами», которые придавали ему «истинное благородство и сейчас выдавали в нем принца крови и аристократа». Г-жа Виже-Лебрён, хотя тоже относилась к Павлу с большой симпатией, была, по-видимому, ближе к правде, говоря, что лицо «принца-аристократа» удивительно похоже на карикатуру.

Но Павел не всегда был так дурен. Наружность его тоже изменилась с годами. Ребенком он слыл красавцем, и портрет, писанный с него, когда ему было семь лет, и находящийся в галерее графа Строганова, нельзя было отличить от повешенного напротив портрета семилетнего сына Строганова, Александра. Должно быть, болезнь повлияла так несчастливо на внешность Павла. Еще в 1762 году Екатерине была подана петиция с просьбой вступить во второй брак, причем лица, подписавшие это прошение, ссылались на болезненность наследника престола. В том же году, отправляясь в Москву на коронацию матери, Павел занемог в дороге, а в октябре опять серьезно заболел, и жизнь его находилась в опасности. В 1767 и 1771 г. с ним повторились приступы болезни; они сопровождались нервными припадками,

которые приписывались в обществе не то наследственному недугу, не то испугу ребенка в минуты свержения с престола, его отца и смерти Петра III. Говорили, что Павел страдает падучей.

Однако хирург Димсдаль, выписанный в 1768 году из Англии, чтобы привить цесаревичу оспу, нашел, что Павел хорошо сложен, силен и крепок и не имеет никаких природных недостатков. Впоследствии Павел проявил действительно незаурядную физическую силу. Он хорошо ездил верхом; мог без усталости оставаться подолгу в седле и выказывал в своем роде замечательную трудоспособность.

Но его желтый цвет лица указывал на то, что печень его была не в порядке: врачи постоянно прописывали ему слабительные, а судя по его плешивости, морщинам, дрожанию рук и другим признакам преждевременного старчества, все главные органы его работали неправильно.

Несмотря на эту некрасивость, во всей особе Павла, в его походке, манере одеваться и держать себя было что-то претенциозное и театральное, напоминающее карикатуру, чего г-жа Виже-Лебрён не могла не подметить своим глазом художницы.

Характер Павла до сих пор вызывает спор, начало которому положили Коцебу и Массон сейчас же после его смерти, причем каждый из них указывал в подтверждение своего взгляда на совершенно противоположные, несходные черты в характере Павла, как будто оба они говорили о двух разных людях.

«Природа у него была возвышенная и благородная, уверяет г-жа Ливен: он был великодушный враг, преданный друг, умел прощать всей душой – и готов был открыто искупить нанесенную другому обиду или несправедливость». Но, прибавляет она, «неожиданно, в минуты крайних решений, он становился сумрачен, буен и странен До сумасбродства».

На всех современников Павел производил тоже противоречивое впечатление. После двадцати лет он стал очень мрачен, но до конца его жизни на него находили временами минуты искренней, чисто детской веселости. Как и его мать, он был способен забывать о своем положении деда и императора и играть с детьми в жмурки. Он сам любил острить, и меткий находчивый ответ всегда его обезоруживал, даже в минуты сильного гнева. Раз, на маневрах, он послал офицера на разведки, но тот замешкался, и Павел отправил вслед за ним другого, чтобы поторопить его.

– Передайте ему, что он рискует жизнью!

– Передайте императору, что я был убит, – ответил запоздавший.

И Павел расхохотался.

Настроение постоянно менялось у Павла благодаря его крайней впечатлительности; он с детства был болезненно нервен. Впоследствии приближенные обратили внимание на то, что расположение духа меняется у него вместе с погодой. Он сам заметил, что, в противоположность Паскалю, «у него не бывает внутри собственных туманов и собственной хорошей погоды». Он привык спрашивать каждое утро о направлении ветра, и придворные с волнением следили за движениями флюгера. Уже десятилетним ребенком он не мог заснуть ночью, если днем ему приходилось испытать какое-нибудь волнение. С раннего детства он находился в состоянии непрерывного нетерпения; торопился скорее встать, скорее лечь спать, скорее сесть обедать и скорее встать из-за стола. Он выходил из себя, если его не вели на вечерний прием императрицы, но едва его приводили туда, как он начинал топтать ногами от нетерпения, чтобы его увели прочь.

Чтоб объяснить как-нибудь эту постоянную возбужденность, предполагали даже, что великий князь был отравлен в 1778 году, и говорят, будто он сам рассказывал об этом. Но наука не знает яда, который мог бы вызвать подобные следствия, и прежде чем пасть жертвой живых убийц, из плоти и крови, Павел стал жертвой своего расстроенного воображения. «Участь всех сверженных и убитых государей была его навязчивой идеей и никогда не выхо-

дила у него из головы», замечает Сегюр. В 1773 году в Царском Селе, найдя в сосисках – это было его любимое кушанье – осколки стекла, он стал кричать, что его хотят убить, отнес блюдо к императрице и потребовал смерти виновных. В 1781 году во Флоренции, на придворном банкете, ему показался подозрительным вкус вина, и он скорее сунул палец в рот, чтоб вызвать у себя рвоту. Та же история повторилась несколько месяцев спустя в Брюгге; выпив стакан ледяного пива, он почувствовал себя нехорошо и стал упрекать принца де Линь, что тот посягает на его жизнь.

Он был всегда настороже, всюду видел врагов, замышляющих его гибель, и шпионов, подсматривающих за каждым его движением. Со временем эта подозрительность приняла у него характер почти настоящей мании преследования.

Чувство, которое он испытывал чаще всего и сильнее всего, был страх. Он от рождения был словно обречен на вечный ужас, и еще крошечным ребенком дрожал всем телом, когда тетка подходила к его колыбели; Елизавете, вследствие этого, пришлось даже реже посещать его детскую. Может быть, это был в нем наследственный порок; Петр III был тоже большим трусом. Но в Павле этот недостаток сказался несравненно сильнее. Он прекрасно ездил верхом, но никогда не пускал лошадь карьером. Он боялся всего и всегда, и даже гнев его подчинялся страху. Однажды на маневрах он остался очень недоволен каким-то полком. Командир вывел его из себя, и он в бешенстве замахнулся на него палкой, готовый ударить. Как вдруг он услышал команду:

– Ружья заряжай!

Что это значило? Павел изменился в лице, и, опустив руку, самым любезным тоном спросил офицера:

– Вы сказали заряжать ружья! Зачем же? Ведь здесь нет неприятеля!

Полковник извинился, сказав, что обмолвился, и учение закончилось вполне мирно.

Можно было почти безошибочно усмирить Павла, ответив ему с равной заносчивостью. Повторялась та же история, что с солдатом, о котором рассказывает Монтень: этому солдату грозили наказанием, пока он молил о пощаде, и прощали его, когда, оставив мольбы, он брался за шпагу. Так тот, кто решался бравоировать Павла, мог легко его укротить. Но мало у кого хватало на это смелости.

Природная недоверчивость Павла усиливалась еще его дурным мнением о людях вообще и в особенности о тех, что его окружали. В детстве он несправедливо обвинял слуг в воровстве, на которое, впрочем, они были, может быть, способны, и они искренно его ненавидели. Но, как у всех слабых натур, у него была потребность изливаться перед другими, и он легко доверялся людям, но также легко и уходил от них. Он быстро увлекался и быстро разочаровывался и был самым капризным из государей, самым непостоянным из друзей.

Человеконенавистничество Павла было, впрочем, следствием его непомерной гордости. Несмотря на прирожденную любезность, он был до крайности надменен и не терпел противоречий, вопреки своей слабой воле. Десятилетним мальчиком он пришел однажды в ярость от того, что камердинер не решался надеть на него поношенный камзол, который Павел сам приказал выбросить.

– Делай, что приказывают!

Когда ему было уже тридцать лет, он приказал высечь своего кучера за то, что тот отказывался свернуть на дорогу, до которой не было проезда.

– Пусть мне свернут шею, но пусть слушаются!

Впоследствии он требовал, чтобы температура в его спальне держалась зимой всегда на 14°, но чтобы печка *оставалась при этом холодной*. Прежде чем лечь в постель, он проверял градусник и щупал печь. Чтобы выйти из затруднения, прислуге приходилось натирать незаметно фаянсовую печь льдом.

Ребенком он приходил в негодование, если в театре раздавались рукоплескания прежде, чем он начинал аплодировать сам. Напрасно его уверяли, что сама императрица относится снисходительно к этому нарушению этикета. А когда он юношей приехал в Берлин, то, по словам Тьебо, поразил всех своей манерой отвечать на поклон, «без малейшего наклона головы, напротив вздергивая голову кверху и вызывающе оглядывая поклонившегося ему».

Сущность характера Павла, по словам Корберона, заключалась в том, что характера у него не было вовсе. Современные психологи не признают волю отдельной способностью души. Они пользуются этим словом лишь как коллективным термином для обозначения ряда эпизодических явлений, называемых хотениями и рассматриваемых как простые рефлексы. Воля – это вопрос производительности работы нервного аппарата, его силы и слабости, порядка или беспорядка, обусловленных большей или меньшей способностью нервных центров синтезировать полученные впечатления и приводить полученные реакции к одной равнодействующей, которая является решением. У Павла этот механизм был несомненно расстроен; мозговые процессы с трудом согласовались у него одни с другими и заменяли хотения импульсами.

Хотеть – значит выбирать; импульс же, слишком сильный или слишком скоропреходящий, не дает воле развиваться и сосредоточиться или предоставляет ей для этого слишком мало времени; он мешает ее длительности. Так импульсивны дети, которые смеются, когда на щеках у них еще не обсохли слезы, или истерические женщины, без всякой видимой причины переходящие ежеминутно от радости к печали. Павел походил и на первых и на вторых. Про него можно было сказать то, что говорила графиня Головина про герцога Зюдерманландского: «il avait sans cesse l'air d'un premier mouvement». Кроме того, Павел постоянно находился под влиянием чужой воли, заменявшей его собственную. Сознывая эту подчиненность, он приходил в раздражение, но, как человек неспособный к сопротивлению, не имел иного средства, кроме бегства, чтобы спастись от этой зависимости. Отсюда постоянные перемены в составе его приближенных, друзей, слуг, сотрудников. Самодержавный государь, он стремился осуществить идеал личной и безграничной власти и старался сломить тех людей, которые, казалось ему, хотели отнять у него хотя бы ничтожную ее частицу или ограничить ее полноту. Все его царствование было отчаянной борьбой за достижение этого идеала, не дававшегося ему.

Иллюзию силы он находил в насилии, являвшемся у него – и в поступках и в речах – следствием полной неспособности владеть собой. В противоположность Наполеону, в гневе его не было ничего обдуманного. Слова и движения вырывались у него произвольно и были иногда в полном несоответствии с его истинными чувствами и намерениями. Эти вспышки ярости, как все болезненные явления, которым ничто не мешает развиваться, с годами все усиливались у него. Как замечает Семен Воронцов, «вспышки ярости делались у него все сильнее и сильнее, пока не довели его до безумия».

Резкость этих вспышек была так велика, что искажала совершенно лицо Павла. «Он бледнел, черты его лица искажались до полной неузнаваемости; он задыхался, выпрямлялся, откидывал назад голову и начинал громко дышать». «Волосы на его голове становились дыбом», прибавляет второй свидетель. А третий пишет: «Черты лица его принимали отталкивающее выражение».

Если кто-нибудь из близких ему старался в эти минуты его образумить, он отвечал:
– Не могу сдержаться!

В действительности он находил наслаждение в этих беснованиях – наслаждение гневом, источник которого психологи видят в инстинкте самосохранения, в его наступательной форме, и в инстинкте господства в различных его оттенках: чувстве торжествующей власти, силе, превосходстве, гордости. «Ни одно душевное движение не приобретает так

быстро болезненного характера», – говорит большой авторитет в данном вопросе, Рибо. Поэтому взрывы ярости отражаются одинаково и на психологическом и на физическом мире человека. К тридцатому году природная склонность к доброте, поражавшая приближенных Павла, по-видимому, совершенно исчезла в нем, и он стал производить на окружающих обратное впечатление. «У меня сердце вовсе не такое черствое, как *очень многие думают*», – писал он в 1776 году.

Конечно, ему случалось сожалеть о том зле, которое он причинял другим во время своих неистовств, и он даже старался заглаживать иногда свою вину. Однако раскаивался он редко и в большинстве случаев неполно. Он извинился, например, однажды перед офицером, которого ударил, но нашел, что это смягчение оскорбления не избавляет пострадавшего от необходимости снять военный мундир. Другой офицер был ранен на дуэли из-за фаворитки Павла. Павел поздравил его противника, а самого раненого приказал посадить в крепость.

– Но, при малейшем движении, врачи не ручаются за его жизнь...

– Слушайтесь приказания!

И под угрозой кровоизлияния жертва этого варварского распоряжения была сдана на руки жандармам.

– А его мать? – спросил затем Павел. Она в отчаянии.

– Пусть она немедленно выезжает из города.

Сын одного арестованного просил, в виде милости, чтобы ему разрешили разделить заключение отца. Павел приказал посадить его в тюрьму, но не с отцом, а отдельно.

Возможно, что эти анекдоты, повторяющиеся до бесконечности в записках современников, не всегда и не вполне точны. В них должна быть доля преувеличения, а рассказ – выдуманный, по-видимому, Массоном – о лошади, будто бы приговоренной Павлом к голодной смерти, надо признать неудачным измышлением. Но тот факт, что этих рассказов, аналогичных по содержанию, сохранилось так много, сам по себе достаточно красноречив. О черствости же сердца, которую, по свидетельству самого Павла, многие находили в нем, говорит и его молодая невестка, жена Александра I. Она обращалась с просьбами о помощи к своему свекру. Павел отвечал на них сухими шутками.

До конца своей жизни он бывал минутами добр, и становился иногда даже очаровательно нежным, как, например, в письме к своей второй жене, посланном ей при сборах на войну с Турцией.

«Тебе самой известно, сколь я тебя любил и привязан был. Твоя чистейшая душа перед Богом и человеки, стоила не только сего, но почтения от меня и от всех. Ты мне была первой отрадой и подавала лучшие советы...».

Павел писал под впечатлением минуты; но по отношению к той же жене он выказал вскоре большую жестокость, и трудно указать случай, когда он, повинувшись «удивительной и малодушной склонности» человека «к милосердию и кротости», как выражался Монтень, проявил бы при этом способность к самоотречению. Влюбившись в Лопухину и узнав от нее, что она отдала свое сердце князю Гагарину, Павел согласился на ее брак с этим молодым человеком. Защитники Павла часто указывают на этот пример, но он вовсе не убедителен, так как княгиня Гагарина должна была остаться любовницей соблазнившего ее императора.

Представление, которое сын Екатерины составил себе с ранних лет о своем положении в мире, роковым образом развило в нем грубый эгоизм, и, насколько позволяла его крайняя непоследовательность, этот эгоизм сделался в конце концов главной побудительной силой всех его поступков. Гордость обязывала еще иногда Павла к благородным поступкам и великодушным побуждениям, но его преувеличенное понятие о своем «я» мешало их проявлению.

Щедрость его, часто чрезмерная, но еще чаще приукрашенная легендой, вызывалась в большинстве случаев кичливостью и тщеславием. По словам г-жи Оберкирх, он раздал в

Париже подарков на два миллиона. А само его путешествие во Францию, после выезда из Италии, не обошлось и в половину этой суммы. И за все это платила Екатерина.

Павел не мог быть действительно щедрым, потому что, в силу его немецкого происхождения, в нем слишком сильно говорила та мелочная скупость, от которой и его вторая жена никак не могла освободиться, несмотря на всю роскошь, окружавшую ее в России. Порошин рассказывает, что молодой великий князь пересчитывал свечи, горевшие у него в комнате, и каждый день определял их число. Отдавая мундшенку один из сухарей, которые ему подавали за завтраком, он выбирал самый маленький. Впоследствии, «наказывая без вины, вознаграждая без заслуги, отнимая постыдность у наказания и обаяния у награды», по словам Карамзина, он оставлял этого самого Порошина жить в нищете, хотя обещал ему богатство, позабыл Никиту Панина на его смертном одре и относился пренебрежительно к Суворову после его возвращения из итальянского похода.

Таков был характер Павла; ум же его не мог возместить недостатков его сердца.

IV

Ум у Павла был от природы довольно живой, и его нельзя было бы назвать некультурным. Добрый Порошин, столь плохо вознагражденный Павлом, приписывает своему ученику удивительную наблюдательность и проницательность. В 1765 году – великому князю было тогда одиннадцать лет – его спросили: кто из двух присутствующих на приеме придворных ему больше нравится? Павел молчал. Когда все вышли, он заметил им вслед: – «Либо вопросители глупы, либо меня они за дурака почитают».

Но в глазах воспитателей большинство детей – феномены. В зрелые годы Павел славился поразительной памятью. Он узнал в строю и назвал по фамилии, имени и даже отчеству офицера, которого видел лишь раз в жизни – тридцать два года назад! Но легенда приписывает такие таланты большинству государей.

Сын Екатерины получил тщательное образование и сумел им воспользоваться. Его научные познания в истории, географии, математике были достаточны, хотя в них и был пробел: ученику Панина недоставало юридических знаний, очень мало распространенных в то время в России. Павел говорил на нескольких иностранных языках; немецким, французским языком – и не только русским, но и церковнославянским он владел в совершенстве. Писал он легко, хотя и не вполне правильно. Он умел наблюдать и запоминать; впрочем, в этой способности не было ничего исключительного. Переехав первый раз русскую границу со стороны Пруссии, он был и поражен и опечален:

– Эти немцы обогнали нас на два века! – воскликнул он.

По возвращении в Гатчину он сумел воспроизвести с безошибочной точностью все черты прусского милитаризма, мундиры, снаряжение, учение, маневры.

«Ум у него был изысканный, живой, открытый, склонный к веселости, – пишет г-жа Ливен... Он говорил отрывисто, но всегда оживленно».

А Гримм говорит:

«В Версале казалось, что он так же хорошо знает французский двор, как и свой собственный. В мастерских наших художников... он обнаруживал всесторонние знания... и его лестные отзывы делали художникам честь. В наших лицах и академиях он показывал своими похвалами и вопросами, что не существует дарований или работ, которые бы его не интересовали».

Однако Иосиф II, сравнивая Павла с Марией Федоровной, в смысле ума и талантов, ставил ее гораздо выше. В сущности, способность усваивать была у Павла невелика; он не умел развить ее при помощи размышления о том, чему научался. Глуп он не был; но, в свою очередь, ему, по-видимому, не по заслугам приписывают многие остроумные замечания во

время его пребывания во Франции. В Париже или в Лионе – анекдот этот рассказывают различно – он будто бы рассмеялся, услышав, что кто-то крикнул в толпе при его проходе: «Боже мой, как он дурен!» Но смеялся он, скрепя сердце, если верить Башомону, который приписывает ему такие слова:

– Право, если бы я не знал прежде, что я некрасив, то я узнал бы это от этого народа!

Между тем, одним из его любимых жестов было проводить ладонью по лицу, точно он хотел показать наглядно, как плоски его черты; он допускал карикатуры на свою особу и, говорят, одной просительнице, столь же некрасивой, как он, любезно ответил:

– Я ни в чем не могу отказать моему портрету.

В то же время он поддавался и лести, и вследствие самообольщения, мешавшего ему судить здраво, принимал за чистую монету самую грубую лесть.

– Какая удобная лестница! – воскликнула одна дама, поднимаясь с трудом по удивительно крутым ступеням, которые ведут в первый этаж Михайловского дворца, и встретив неожиданно императора. Этот дворец строился под личным руководством Павла, и он в восторге поцеловал даму.

Несмотря на пренебрежение, – впоследствии оно перешло в ярую ненависть, – с которым Павел относился к некоторым идеям, зародившимся во Франции, он был в общем большим поклонником французского ума, даже в самых крайних его формах. Он любил французское остроумие и каламбуры, даже грубые и скабрзные. Сам он часто прибегал в разговоре к игре слов, причем пользовался для этого по преимуществу языком Вольтера, хотя и не всегда кстати. «*Si tût pris, si tût pendu!*» – сказал он офицеру, которого вызвал к себе, чтобы дать ему ответственный пост. А офицер думал, что император приговаривает его к смерти.

Эти шутки служили для Павла отдыхом от крайнего напряжения, в котором он постоянно находился. Еще в 1800 году, несмотря на поглощавшие его мрачные предчувствия и заботы, он забавлялся тем, что исподтишка щекотал ногой спину истопника, присевшего перед печью, и выслушивал поток ругательств этого человека, не догадывавшегося, кто его задевает.

Других развлечений Павел не умел себе найти. Как большинство неврастеников, он не признавал никакого спорта. Охоту он ненавидел. Он садился на коня, только когда присутствовал на маневрах, делал смотр или сопровождал императрицу на официальных прогулках. Литературой и искусством он интересовался не искренно, по принуждению, полагая, что они должны занимать определенное место в занятиях государя. Фридрих II играл на флейте, а его поклонник распевал романсы, хотя голос у Павла – хриплый на нижних нотах и пронзительный на высоких – был крайне неприятен.

Он любил бывать в обществе, но обыкновенно скучал среди людей; он был слишком поглощен собой, чтобы разделять чувства других, и в этом заключалась одна из причин его непостоянства в дружбе. Люди быстро утрачивали для него всякий интерес.

В складе ума Павла было много недостатков и, главное, ум его был мало приспособлен для этой подавляющей роли, которую Павлу приходилось играть. Если бы он был частным лицом, он наверное сумел бы занять в обществе почетное положение. Но, как претенденту, реформатору, а затем полновластному хозяину громадной империи, ему приходилось напрягать свои природные или приобретенные способности до последней крайности, пока он не потерпел полного крушения.

«У него умная голова, – говорил один из его наставников, – но в ней находится один маленький механизм, который висит на волоске...» Павел с ранних лет начал слишком натягивать эту пружину, и Екатерина с огорчением видела это. К концу жизни ей стало казаться, что пружина не выдержит и лопнет.

В другой обстановке характер несчастного государя был бы просто тяжелым, но трудность его ненормального положения сначала, а затем бремя безграничной непосильной власти сделали его чудовищным, и Екатерина наверняка замечала также и это.

В уме и в характере Павла было и некоторое благородство. Он соединял несколько преувеличенное, но очень возвышенное представление о своей роли с сильно развитым чувством долга – хотя понимал этот долг не вполне верно – и со страстным желанием выполнить свое предназначение. Но «при лучших намерениях в мире вы заставите себя ненавидеть», – предсказывал ему Порошин. Двенадцать лет спустя Павел гордо принял этот вызов: «Я предпочитаю, чтобы меня ненавидели за сделанное мною добро, чем любили за сделанное зло», писал он одному другу.

Как наследник престола, он был невыносим не только для Екатерины, но и для большинства лиц, имевших с ним дело; его поведение и планы пророчили заранее, что царствование его будет катастрофой. Да он и не скрывал твердого намерения произвести в России полную революцию, как только вступит на престол.

Его резиденции, Павловск и Гатчина, служили в миниатюре прообразом этого будущего; здесь Павел создал себе маленькое царство на свой лад и производил опыты, применяя на практике свои идеи, принципы и будущие преобразования. Екатерина, наблюдавшая за его деятельностью в этом маленьком мире, в конце концов убедилась, что ее намерение лишить Павла престола не только необходимо, но и осуществимо.

В 1792 году, арестовав Новикова и его единомышленников, она, по-видимому, хотела лишить Павла приверженцев, которые, по ее мнению, могли бы за него постоять. Но ей приходилось считаться еще с семьей наследника. Четыре года спустя она однако могла предполагать, что не встретит сопротивления и с этой стороны.

Глава 3 Наследник

I

Павловск, лежавший в четырех верстах от Царского и в двадцати пяти верстах от Петербурга, в пустынной местности, куда вели почти непроезжие дороги, вначале чрезвычайно понравился Павлу, когда Екатерина подарила его ему в 1777 г. по случаю рождения Александра. Но пять лет спустя после смерти Григория Орлова он получил в Гатчине, – по соседству от незатейливого Павловска, – роскошный дворец, выстроенный для фаворита итальянским архитектором Ринальди, и с тех пор Гатчина сделалась его любимым местом пребывания. Павловск достался Марии Федоровне, и – среди лесов и лугов, названных ею немецкими громкими именами *Pauslust* и *Marienthal* – она старалась воспроизвести здесь дорогой ей Этьоп, подражая в то же время и Версалю и Трианону. Скромную дачу первых лет заменил дворец; в парках появился классический швейцарский домик вместе с неизбежным «Павильоном роз», и коллекция статуй, между прочим, «Флора», у которой Екатерина «непочтительно» находила большое сходство с бродяжкой.

Все это было очень посредственного вкуса, в чем можно убедиться еще и теперь.

Между тем Павел со своей стороны подражал в Гатчине Потсдаму, – не Сан-Суси, – а той части резиденции Фридриха, где король, изменяя обществу Вольтера, дрессировал каждое утро своих гренадер. Прежний дом Орлова очень подходил для этой цели. Массивное, не изящное здание дворца легко могло сойти за казарму, а парк, наполненный статуями поддельного мрамора, ужасными чугунными уродами, отлитыми на заводе Демидова и выкрашенными в белую краску, должен был напоминать Павлу стол с оловянными солдатиками, которыми он играл в детстве. Свита великого князя тоже вполне гармонировала с этой обстановкой.

В противоположность Павловску, Гатчина не была пустыней. Она лежала у пересечения больших дорог из Петербурга в Москву и в Варшаву, имела некоторое значение уже в то время и насчитывала 2000 душ населения. Павел производил тут свои административные опыты, и так как эта работа была ему здесь по плечу, то он справлялся с ней вначале недурно. Следуя лучшим из своих побуждений, он основал в Гатчине школы и больницы; рядом с православной церковью выстроил католический храм и протестантскую кирху; поощрял развитие всякого рода ремесел, помогал жителям деньгами и землею. Но, даже в этих скромных рамках, ему пришлось натолкнуться на те затруднения, которые испытывают все реформаторы, задающиеся слишком сложными целями. Кроме того, его деятельность страдала от слишком большой живости его ума, от необузданности его характера и сумасбродства его воли. А вскоре его поглотили другие заботы.

Еще в 1775 году, в Москве, застав там кирасирский полк, шефом которого он состоял, – этот полк стоял прежде в Польше, – Павел пожелал вымуштровать его по прусскому образцу и для этого пригласил немецкого офицера, дезертировавшего из армии Фридриха, полковника Штейнвера. Теперь в Гатчине он решил продолжать те же опыты, но в более широком масштабе, с отрядами войска всех родов оружия. Он думал, что, подобно «потешным» Петра Великого в селе Преображенском, они послужат основой для будущей военной мощи России, преобразованной или, вернее, возвращенной к традициям прежних царствований.

В окрестностях обеих резиденций великого князя встречалось много разбойников. Он воспользовался этим предлогом, чтобы вызвать к себе батальон пехоты и эскадрон

своих кирасир; впоследствии к этой маленькой регулярной армии он прибавил еще наемные отряды пехоты, кавалерии и артиллерии, достигавшие в общем 2000 человек.

Обучением этих солдат он преследовал две цели: прямая заключалась в подготовке к военной реформе, задуманной им, а косвенная – в критике армии Екатерины. Здесь Павел все осуждал: и мундиры, которые Потемкин хотел приспособить к климату и обычаям страны, и самые приемы и методы боя, при помощи которых Румянцев и Суворов, не признававшие прусских образцов, старались примирить общие правила войны со своеобразным духом русского народа. Павел порицал их деятельность, находя ее вредной. Его солдаты, затянутые в старомодный мундир героев Росбаха, напудренные, с гамашами на ногах, подчинялись суровым прусским военным правилам, устаревшим, как и их костюм, и должны были даже скрывать свои славянские имена под немецкими кличками; так, в угоду Павлу, поляк Липинский называл себя Линденером.

Иностранцы смеялись над этим, даже те, что приезжали из Берлина; а русские негодовали, думая, что их возвращают ко временам «голштинцев» печальной памяти Петра III. Павел же был в восторге. Он старался воскресить безвозвратно минувшее прошлое, но думал, что подготавливает будущее, подобно своему деду. В Штейнвере он видел нового Лефорта и, по примеру создателя русского флота, на Переяславском озере, тоже решил завести свою флотилию на Гатчинских прудах. Он вооружил гребные лодки старыми пушками, а Плещеев или Кушелев играли роль его адмиралов.

Екатерина смотрела равнодушно на эти детские забавы. Только раз, когда Павел жаловал чин, она усмотрела в этом дерзкое посягательство на ее верховные права и сделала вид, что собирается сломать его игрушку. Но она не настаивала на этом намерении. Она перестала останавливать Павла от его безумств, решив, что ни ей, ни России нечего их бояться. Она была права лишь наполовину.

Полвека спустя, при реставрации Гатчинского дворца, в напоминании о военных подвигах, зародившихся тут, хотели было записать на мраморных досках имена храбрецов, вышедших из школы Павла и прославившихся на поле сражения. И не нашли никого, достойного этой чести! Школа Павла не была рассадником героев. Ввиду ее дурной славы – странностей и грубости – в нее поступал лишь «сор армии», по выражению одного современника. А между тем, и в царствование самого Павла и в царствование его ближайших преемников эта школа оказала – к несчастью – глубокое и продолжительное влияние на все военные учреждения России.

Нельзя сказать, чтобы в ней не было вовсе здравых и полезных идей, но «сор армии» внес и в них самые губительные заблуждения.

Среди прочих опасностей, против которых Екатерина хотела защитить свое наследство, она, наверное, имела в виду и эту опасность. Но она была намерена устранить наследника лишь в будущем; а в настоящем Гатчина служила именно ее целям, удаляя Павла от Павловска, т. е. от единственной прочной опоры, которую он еще сохранил.

II

Граф Сегюр, гостивший в Павловске в 1785 году, вынес отсюда лучшие воспоминания: «никогда ни одно частное семейство не встречало так непринужденно, любезно и просто гостей: на обедах, балах, спектаклях, празднествах, – на всем лежал отпечаток приличия и благородства, лучшего тона и самого изысканного вкуса». В Гатчине же герцогиня Саксен-Кобургская, теща великого князя Константина Павловича, гостившая здесь одиннадцать лет спустя, жаловалась на невыносимую скуку: «Принужденность и молчание: все по старинной прусской моде... Офицеры свиты великого князя точно срисованы со страниц старого альбома».

В Гатчине лучшим другом и самым преданным слугой Павла был Ростопчин. И вот что он думал о великом князе и о его деятельности:

«Нельзя без сожаления и ужаса смотреть на все, что делает великий князь-отец... Можно сказать, что он придумывает средства, чтобы заставить себя ненавидеть...»

Павел отдавал себе отчет в том впечатлении, которое производят его взгляды и поступки; но это служило для него только лишним поводом, чтобы упорствовать в раз принятом направлении. Притом, после того как Панины сошли со сцены, возле него не было уже разумных советников, которые могли бы удержать его даже от худших его замыслов. Салтыков, к которому он – не без основания – относился теперь с недоверием, старался обезоружить его усиленным раболепством. Товарищи детства великого князя, – им покровительствовала великая княгиня и впоследствии Е. И. Нелидова, – Александр и Алексей Куракины были люди небольшого ума и еще более слабого характера. Литературный двор Марии Федоровны состоял из людей незначительных, бывших воспитателей Павла, приглашенных Паниным; среди них Плещеев умел только приходить в ужас и принимать сокрушенный вид. Что же касается Ростопчина, то он уверял, что смотрит на окружающее с отвращением, в качестве постороннего зрителя; в своей интимной переписке он играл роль сурового цензора Павла, а в действительности просто ловил рыбу в мутной воде.

«Ростопчины, по их словам, ведут свой род – от Чингис-хана, а пожалование их в дворянство относится к шестнадцатому веку», – говорит князь Долгоруков. Сам Ростопчин любил рассказывать, как его предок приехал из Золотой Орды, чтобы поступить на службу к Ивану III, и едва не положил начало княжескому роду в России. Царь предложил ему на выбор княжескую корону или шубу. Стояли большие морозы, и зябкий татарин предпочел шубу. Потомку его Павел тоже будто бы предлагал однажды или назначение канцлером, или знаменитые Воробьевы Горы под Москвой, или библиотеку Вольтера. Но Ростопчин отказался от всех трех подарков, как «предложенных безумным». Однако подлинного письма императора с этим предложением не удалось найти, а воображение у Федора Васильевича было очень богатое.

В Европе известен лишь Ростопчин 1812 года, этот своего рода героический Герострат. Но личность Ростопчина была гораздо сложнее. «Поскоблите русского, – говорил он про себя, – и вы увидите парижанина; поскоблите парижанина – вы опять увидите русского; поскоблите еще, и выступит татарин». Он был способен на все, даже на сопротивление Павлу, причем ему приходилось сжигать все свои корабли, подобно тому, как он сжег впоследствии свой дом, чтобы не отдавать его в руки французам; он был способен остаться верным императору, после того как получил приказ о высылке; но был также способен на отвратительные интриги, низости и отпирательства, чтобы отсрочить эту опалу, умел и воспользоваться милостью Павла, чтобы создать себе блистательную карьеру. Его жена, Екатерина Петровна Протасова, была племянницей знаменитой наперсницы Екатерины, имевшей благодаря своему положению громадное влияние, но пользовавшейся небольшим уважением. Он уверял, что это брак по любви.

Во всяком случае, это был тонкий актер, искусно скрывавший свою истинную природу под напускным бескорыстием, пренебрежением и брезгливостью и утверждавший, что он никогда ничего не делал, чтобы добиться своих успехов. Милость Павла? «Он ничего на свете так не боится, после бесчестья».

Достигнув вершины власти и сосредоточив в своих руках самые важные должности, он, по его словам, ничего так не желал, как все бросить и запереться в деревне. Он убеждал, например, Семена Романовича Воронцова возвращаться скорее в Россию, чтобы сменить канцлера Безбородко; он боялся, что иначе этот пост достанется ему самому. Но в то же время он сделал все зависящее от него, чтобы отбить у своего друга охоту уезжать из Англии.

Среди приближенных Павла иные стояли выше Ростопчина, другие ниже. К лучшим, в некотором смысле, принадлежал Аракчеев, эта по внешности, – «обезьяна в мундире», как назвал его один современник, а в нравственном отношении воплощенный капрал. Человек незначительного ума, ничтожного образования, совершенно непригодный, чтобы стоять во главе армии, он имел зато ценные качества: любовь к порядку и методичность; автоматическую точность в исполнении полученных приказаний; большую работоспособность; известные таланты администратора и честность, если и не безупречную, то во всяком случае несравненно более щепетильную, чем у большинства государственных деятелей того времени.

Сын мелкопоместного дворянина, Алексей Андреевич воспитывался в кадетском корпусе и впоследствии преподавал там же математику. За его мелочность и грубость ученики его ненавидели, и директор корпуса Мелиссино был счастлив сбить Аракчеева с рук великому князю для командования Гатчинской артиллерией. Переменив обязанности, Аракчеев не изменил своего характера. Про него вскоре пошли слухи, что он оторвал солдату ухо! Зато он не пропускал ни одного учения, по вечерам сам стирал единственную пару лосин, имевшуюся у него, и зимой, возвращаясь со службы, сдирал ее с себя чуть ли не с кожей. Таким образом, он оказался во всех смыслах *the right man in the right place*, и возможно, что его вид «сердитого бульдога» и ухватки тюремного надзирателя были необходимы, чтобы держать в повиновении тот сброд негодяев, пьяниц и трусов, которыми ему приходилось командовать. Сам кроткий Александр был убежден в этом.

Коллеги Аракчеева по Гатчине, Липинские и Каменские, превосходили его, впрочем, в жестокости, и он имел над ними то преимущество, что не всегда являлся тем бесчеловечным зверем, каким его видели на учениях солдаты. Вне строя он умел быть любезным. Он был гостеприимным хозяином и к подчиненным офицерам относился даже отечески, собирая их у себя по вечерам за самоваром; он объяснял им тонкости «теории», вызывал их на расспросы и терпеливо отвечал им. Впоследствии, развив свои природные способности за этим трудным делом, он сделался образцовым инструктором, недурным по тем временам артиллеристом и прекрасным организатором. Он остался навсегда суровым, но не щадил и себя; был скуп на казенные деньги, как и на свои собственные и – неожиданная черта – умел любить; не только Настасью Минкину, свою экономку и любовницу, бывшую проклятием его домашнего очага, но и многих друзей, которым оставался неизменно преданным, и, прежде всего – Павла и Александра, не раз безнаказанно испытывавших его верность своим непостоянством.

Худшим среди приближенных Павла, из которых вышли впоследствии государственные деятели его царствования, сменившие сподвижников Екатерины, – был Кутайсов. Родом турок из Кутаиса, взятый еще ребенком в плен при осаде Бендер, а затем превратившийся в графа Ивана Павловича и обер-егермейстера Высочайшего двора, он был пока просто камердинером и цирюльником Павла, а также его наперсником. Кроме того, лавируя среди небольшого женского мирка при дворе, он играл в нем втихомолку роль сводника.

Эта игра, которую вместе с Кутайсовым вели и другие, служила планам императрицы. Екатерина была уверена, что ни плут Кутайсов, ни его товарищи никогда не посмеют пойти наперекор ее желаниям. Ей стоило махнуть рукой, чтобы весь этот «сор» был выметен.

Только в своей семье, служившей теперь в династическом отношении основой всей империи, Павел находил более верную поддержку. Однако коварство его слуг и его собственное легкомыслие вели к тому, чтобы лишить его и этой опоры.

III

До тридцатого года отношения Павла к прекрасному полу были нормальны и если не безупречны, то во всяком случае без всякого оттенка развратности. Одно из этих фактов достаточно, чтобы снять с Екатерины все те оскорбительные упреки, которые ей делали по этому поводу. Она даже свои собственные слабости старалась, по-своему, облечь в приличную форму. Для своего удобства она придавала им характер государственного учреждения, но никогда не делала из них школы порока.

Однако вполне естественно, что в обстановке ее двора чувственность проснулась у Павла очень рано. Ему не было еще десяти лет, когда София Гельвиг, немецкая старая дева, прислала ему из Цербста рубашку тонкого батиста, вышитую ее собственными руками и, вместе с рубашкой, надушенное и страстное послание. Вскоре затем Григорий Орлов повел мальчика в помещение фрейлин, и после этого излишне «наглядного урока» Павел, вернувшись к себе, набросился на том французской энциклопедии, стараясь разыскать в нем под буквой А какое-то слово, которое, наверное, было не «азбукой».

Порошин подробно рассказывает об естественных последствиях таких впечатлений. Ухаживания Павла и его несложные романы не выходили, впрочем, из ряда тех более или менее невинных увлечений, которые мы все переживаем в его годы. Позже, между семнадцатым и девятнадцатым годами, прежде чем Павел стал супругом Наталии Алексеевны, в которую был очень влюблен, у него были любовницы, как у всех молодых людей его лет. Одна из них, дочь с. – петербургского губернатора, Степана Ушакова, и жена князя Михаила Чарторыйского, София Степановна (1746–1803), вышедшая около 1770 года вторым браком за графа Петра Румянцева, подарила своему любовнику сына. Под именем Семена Великого этот сын обучался в английском флоте и скончался в 1794 году на борту «Vanguard» у Антильских островов.

Впрочем, после этой связи, наверное, не единственной, у Павла не сохранилось никаких волнующих воспоминаний, которые могли бы смутить его семейное счастье. К тому же, всем своим романам он придавал характер – или вид – рыцарской сентиментальности. Мария Федоровна, чуть ли не каждый год дарившая ему детей, испытывала все-таки в неизбежные периоды отдаления от мужа сильную ревность, как все жены, влюбленные в своих мужей, и возможно, что Павел давал ей к этому повод. Сомнительно, однако, чтобы он отомстил Андрею Разумовскому, отбив у него красавицу Екатерину Петровну Барятинскую. Рассказ об этом кажется мало правдоподобным. Зато с Глафирой Ивановной Алымовой, вышедшей впоследствии замуж за Алексея Андреевича Ржевского, у него безусловно установились между 1777 и 1787 годами те же своеобразные отношения, как несколько лет спустя с Е. И. Нелидовой. Но после первого негодования Мария Федоровна стала играть роль поверенной между мужем и предметом его увлечения, и таким образом семейный мир не был серьезно нарушен.

Благодаря романическому характеру Павла и его положению будущего императора, женщины увлекались им еще больше, нежели увлекался он сам. Трудно установить, с какой стороны делались первые шаги в его романических похождениях. В 1789 году фрейлина Мария Васильевна Шкурина поступила в монастырь под именем Паулины; говорили, что причиной тому были несчастная любовь к Павлу или несбывшиеся честолюбивые мечты.

Как бы то ни было, в первые десять лет брака Павел и Мария Федоровна осуществляли классическую формулу семейного счастья. У них было много детей, и они любили друг друга. Но затем картина изменилась. Павел все дольше оставался в Гатчине, удаляясь от Павловска, и на сцену выступила Е. И. Нелидова.

В Гатчине Павел был занят тем, что заставлял маневрировать живых марионеток, которых для него муштровали Штейнвер и Аракчеев; он заранее готовился к роли, которую собирался сыграть, взойдя на престол, и терзался, что не может выступить на сцену немедленно; он волновался, «был постоянно в дурном расположении духа, по словам Ростопчина, полный мечтаний и окруженный людьми, из которых самый честный заслуживал быть колесованным без суда». Великий князь окружил дворец непрерывной цепью часовых, которые, и днем и ночью, останавливали и окликали прохожих. Сам Павел, с высокой башни, наблюдал за окружающей местностью. Если он замечал, что путешественники сворачивают на окольную дорогу, чтобы объехать его владения, он посылал за ними вдогонку и заключал их в тюрьму. Каждый вечер по его приказанию производились обыски в домах соседнего пригорода и селений. На улицах и на дорогах было воспрещено носить круглые шляпы, высокие галстуки и фраки, и виновные в нарушении этого приказа строго наказывались. Павел на каждом шагу находил вокруг себя новых якобинцев и в кони концов ввел несменяемое военное положение на всем пространстве свои владений. «Каждый день только и слышно, что о насилии, – рассказывает Ростопчин. Великий князь постоянно думает, что к нему относятся недостаточным уважением, что все стремятся осуждать его действия. Он везде видит проявление революции...»

С каждым днем также будущий император все больше убеждался что его «дрянным народом» следует управлять с кнутом в руках. «Вы видите, с людьми надо обращаться, как с собаками!» будто бы говорил он своим сыновьям. И под видом борьбы с революционным режимом Франции он в сущности в точности воспроизводил этот режим, вплоть до осадного положения.

Между тем Мария Федоровна мирно занималась в это время в Павловске литературой, искусствами и хозяйством, отвлекаясь от этих забот лишь для того, чтобы выпросить у Екатерины каких-нибудь милостей для своей семьи. Павел жестоко упрекал ее за компромиссы, к которым неизбежно вели эти ходатайства; впрочем, теперь между супругами существовала глубокая рознь даже в повседневном обиходе их жизни. Павел вставал до зари, чтобы готовиться вместе со Штейнвером и Аракчеевым к своему великому делу; жена его до утра засиживалась за книгами, в которых, если верить Екатерине, часто ничего не понимала. И действительно, даже немецкая поэзия того времени, столь блестящая и волнующая, осталась ей чуждой, хотя Клиггер и бывал в ее кругу. Ум ее был слишком прозаичен. Правда, она разделяла отвращение Павла к энциклопедистам, но зато ничего не понимала в его масонстве и мистицизме, так же как и в его мечтах о будущем величии, в его реформах, гневе, нетерпении. Так хорошо было бы жить мирно в Павловске, в ожидании лучшего! И почему не ждать, без лишнего беспокойства и напрасного раздражения, этого наследства, которое, все равно, перейдет к Павлу в свое время?

Любовь к искусству обоих супругов – которую, судя по ее проявлениям, было бы, может быть, справедливее назвать их дурным вкусом – могла бы их сблизить между собой. Но, чтобы сделать приятное Екатерине и вырвать у нее какую-нибудь милость для своей семьи, Мария Федоровна написала портрет наиболее страстно любимого фаворита императрицы, молодого и томного Ланского!

В ссоре, вспыхнувшей из-за этого между великим князем и великой княгиней, приняли участие их приближенные и придали ей ненужную остроту. Г-жа Бенкендорф, «дорогая Тилли», подруга детства Марии Федоровны, вывезенная ею из Монбеляра, объявила войну Е. И. Нелидовой, будущей фаворитке; добрый Лафермьер, служивший библиотекарем у Марии Федоровны, вступил в борьбу с Вадковским, бывшим правой рукой великого князя. Все могло бы, впрочем, обойтись мирно, если бы Павел, чувствуя, что исполнение его честолюбивых планов откладывается на долгое время, не задался новой мечтой, которая привела его к тому, что он стал искать близости с другой женщиной, так как не мог найти

в этом направлении сочувствия у своей законной подруги. Он не мог превратиться немедленно в Фридриха II или в Петра I, а потому решил сделаться пока героем идеальной нравственной высоты. Лишенный возможности подняться по ступеням престола, он устремится на вершины мысли, добродетели, любви...

Эта мечта зародилась у него около 1790 года. В свободное время от маневров, он все больше вдохновлялся ей, доходя, силой самовнушения, до настоящих галлюцинаций. Но ум его был слишком неширок, и воображение слишком бедно, чтобы он мог наслаждаться этой мечтой в одиночестве. Ему было необходимо воплотить ее, придать ей реальную форму; притом ему была нужна посторонняя помощь, чтобы вместе с кем-нибудь уноситься ввысь. А так как он, наверное, читал Гете и его рассуждения на тему о «вечно женственном», а Мария Федоровна, при ее вечных беременностях, была совершенно неспособна играть роль Шарлотты Штейн, то он решил искать другую героиню – или ему помогли ее найти. В это дело вмешался Вадковский и, по-видимому, другой друг детства Павла, возвратившийся в это время из Дании, барон Сакен. Стараясь упрочить свое положение и в настоящем и в будущем, Сакен легко мог быть в этой интриге орудием большого двора, – хотя Нелидова об этом ничего не подозревала.

IV

Если верить госпоже Ржевской, Павел не мог сначала выносить будущий предмет столь сильной страсти, отчасти за приписываемый этой фрейлине злой нрав, отчасти за ее бесспорно некрасивую наружность. Даже начав на нее смотреть другими глазами, он, казалось, не находил в ней сперва никакой физической или нравственной привлекательности, а скорее обратил на нее внимание из-за пустого расчета, представлявшего собой в сущности очень необдуманное предприятие. Вадковский и Сакен согласились его уверить, будто при большом дворе о нем говорят, что он пляшет по дудке своей жены; чтобы доказать противное и избежать фиктивного рабства, он сковал себе настоящие цепи.

Все остальное явилось уже потом, а начало авантюры не представляло ничего особенного.

Около 1786 года молва просто заговорила о Екатерине Ивановне как о любовнице великого князя. Шесть лет спустя она возмутила малый двор, добившись от Павла удаления госпожи Бенкендорф. Мария Федоровна имела неосторожность пожаловаться Екатерине, и, узнав об этом, Павел вышел из себя и сказал даже жене, что дождется от нее дня, когда она ему приготовит участь Петра III. На этот раз ссора так разгорелась, что известие о ней появилось в *Moniteur universel* в Париже. Нелидовой, родившейся 12 декабря 1758 года (старый стиль), было уже за тридцать. Дурнушка и старая дева!

Ее семья, вышедшая из Литвы, но поселившаяся в окрестностях; Смоленска в те времена, когда Россия, стремясь к Западу, в течение веков соперничала с Польшей, была судьбой предназначена являть собой питомник фавориток. В следующем веке Екатерину Ивановну сменила ее племянница, Варвара Аркадьевна, игравшая очень заметную роль в последние годы царствования императора Николая I. Еще ранее Нелидовы были отмечены в истории своей новой родины по различным причинам: прославленные в четырнадцатом веке одним из соратников Дмитрия Донского в Куликовской битве (8 сентября 1380 г.) они были, обязаны менее славной известностью, в начале семнадцатого века, одному из Лжедмитриев.

Екатерина Ивановна воспитывалась в *Смольном* институте благородных девиц, где мать Павла старалась привить русским дикарочкам свой идеал высокой полуфранцузской, полунемецкой культуры: элегантности и хороший тон, знание изящных искусств и понимание всех тонкостей языка Вольтера, придворный этикет и преклонение перед культом, *Schoenseligkeit*.

Нелидова, как продукт этого чисто искусственного воспитания, представляла собой в пятнадцать лет настоящее чудо и пробудила в своей царственной покровительнице желание поручить Левицкому нарисовать ее портрет во время исполнения ею па менуэта. Через два года Екатерина Ивановна следовала уже той дорогой, по которой прошли все девушки, подобные ей, и заняла место среди фрейлин первой жены Павла. Мария Федоровна получила ее в наследство, как туфли покойной великой княгини, и ей и в голову не приходила мысль о возможности соперничать с «маленькой смуглянкой». Она не обратила внимания на блестящие умом глаза, освещавшие неблагоприятное лицо, на мерную грацию каждого движения этого слабенького тела. Павлу начинает нравиться общество дурнушки? Тем лучше. Ей воспользуются, когда нужно будет его уговорить и дать ему совет.

В 1788 году, во время злополучной войны с Финляндией, перипетии которой нам известны, Нелидова, с согласия великой княгини, взялась за исправление отсутствующего великого князя. Об этом она переписывалась и с Вадковским. Но уже в письмах к самому Павлу, в конце которых Мария Федоровна снисходительно делала свои приписки, фаворитка хвалилась тем, что знает лучше, чем кто бы то ни было, «дорогого Павлушку»; она получала письма и от него, где он писал ей, что если ему придется встретить смерть на поле сражения, то последняя его мысль будет о ней! Пускаясь на хитрость, к которой она и потом прибегала не раз, она уже теперь заявила о своем намерении поселиться в Смольном, как только возвратится великий князь. Мария Федоровна приписала по-итальянски: *Questo non sara!* Екатерина Ивановна прибавила по-русски: *Будет!*

Опять жизнь втроем: так было на роду написано Павлу. О характере этой связи мнения современников разделились. Большинство однако держалось взгляда, наиболее соответствовавшего законам природы и похожего на правду. Более великодушное потомство склонилось к тому, чтобы принять чисто идеальное объяснение романа, которое и сами герои последнего желали ему придать.

Стать на чью-либо сторону в этом споре было бы слишком смело для историка; ему следует ограничиться лишь указанием отдельных мнений.

Являясь опять третьим лицом в этой тесной дружбе, Мария Федоровна, по-видимому, долгое время считала ее вполне невинной. Но она не обладала особенной проницательностью, а, увидя себя обманутой в других случаях подобного же рода, она потеряла веру и в эту дружбу.

В одном из писем к матери Павел «перед Богом и людьми» протестовал против людской злобы, дающей ложное толкование «связи, исключительно дружественной». Но ради того, чтобы защитить от мщения любимую женщину, или спасти ее репутацию, какой же мужчина остановится перед ложью?

Находясь однажды в *Смольном*, когда Екатерина Ивановна уже решила туда удалиться, и проникнув во время ее отсутствия в ее комнату, Павел воспроизвел сцену *Фауста* в комнате Маргариты, познакомившись, очевидно, ранее с этим шедевром по первым вышедшим тогда отрывкам драмы. Он отдернул занавеси ее кровати и с восторгом воскликнул: «Это храм непорочности! Это храм добродетели! Это божество в образе человеческом!» Но из прочитанной им, хотя и не оконченной, драмы он знал, что стало с непорочностью и добродетелью Маргариты, и несколько позже, в Михайловском дворце, соединив свои комнаты с помещением княгини Гагариной лестницей, которой он один пользовался, он опять вздумал обоготворять эти отношения. Возможно однако, что, впадая в мистицизм в своих увлечениях и фантазиях, ему удалось обмануть самого себя.

Остается привести еще свидетельство главного заинтересованного лица. «Разве вы были для меня когда-нибудь мужчиной?» читаем мы в одном из писем Нелидовой к Павлу. «Клянусь вам, что с тех пор, как я к вам привязана, я этого никогда не замечала. Мне кажется,

что вы мне – сестра». Эти строки были бы убедительны, – если б только они не предназначались для прочтения Марии Федоровны.

Но разве писавшая их не стоит выше всяких подозрений в лицемерии? Судя по семейным преданиям, нельзя сомневаться в величии ее души, подтверждения чему были ею неоднократно даны. Ее бескорыстие вошло в поговорку. Из ее переписки видно, как она беспрестанно боролась с чрезмерной и оскорбительной на ее взгляд щедростью ее друга. Она очень неохотно приняла от него однажды простой «фарфоровый сервиз для завтрака» и отказалась от предложенной ей при этом «тысячи душ».

Когда оставшиеся в живых окружают благоговейным культом, вследствие своей набожности, особенно дорогую память некоторых лиц, уже сошедших в могилу, они возбуждают не только наше уважение, но и нашу симпатию. Не хотелось бы доставлять им малейшего огорчения, в особенности тогда, когда это благоговение связано с именем, все еще с честью носимым. Но история тоже имеет свои права. 23 февраля 1797 года в депеше кавалера, впоследствии лорда, Витворта, английского посла в С.-Петербурге, упоминается о сумме в 30000 рублей, тайно уплаченной им Нелидовой – за заключение торгового договора, выгодами которого были отчасти обязаны стараниям фаворитки. Бывший цирюльник Кутайсов получил одновременно 20000 рублей за такие же услуги.

Витворт был благородный человек и большой барин, владевший в Англии значительным состоянием. Он всегда пользовался на своей родине репутацией честного и порядочного человека, о чем свидетельствовал и Вальтер Скотт. Располагая большими секретными суммами, он никогда не возбудил ни малейшего спора из-за их расходования. Во время его пребывания в Петербурге, у Нелидовой явилась заместительница в благосклонности государя, что не отразилось однако на распределении этих щедрот, которые посланник продолжал раздавать и из которых он никогда не уделил ни одной доли княгине Гагариной. Этот пункт в биографии фаворитки, по-видимому, строго установлен и если, по понятиям эпохи, он лишь незначительно задевал ее честь, то представление об ее искренности оказывается им серьезно поколебленным. Впрочем, ей не раз случалось заметно спускаться иногда с той недостижимой высоты, на которой ей всегда хотелось пребывать и где услужливой воображение публики доныне сохранило ее память. Но, очевидно, они с Павлом не возносились так высоко, когда посвящали в свои «отношения чистейшей дружбы» Александра Борисовича Куракина, который, сравнив великого князя с пчелой, собирающей мед с цветов, отвел временной фаворитке простое место в общем цветнике.

В физическом и духовном отношениях все существо Екатерины Ивановны представляло собой, конечно, полную противоположность личности великой княгини; ее откровенные выходки, ее резкости, воркотня и вспышки гнева не соответствовали спокойствию Марии Федоровны, равно как ее великодушные порывы, ее витание в облаках – ограниченному уму идиллической и элегической, но, в сущности, очень прозаической владелицы Павловска. Однако Нелидова, кажется, с большим искусством сумела придать цену этому контрасту, в чем и следует видеть главный секрет ее победы. Но возможно также, что, подобно самому Павлу, предаваясь вместе с ним мистицизму, мечтам и химере, ей удалось мысленно перенестись в тот мир и видеть в измененном виде даже материальные факты их общего существования. На это могла повлиять возбужденность чувств, явившаяся следствием немецкого *Sturm und Drang*; распространившись в то время по всей Европе, она проявилась в частности в обоготворении любви; но ведь известно, в какой мере к этой экзальтированности примешивалась грубая чувственность. Разве, оправдываясь в том, что она никогда не смотрела на своего друга, как на мужчину, Нелидова не показывала, что между ними вопрос пола все-таки подымался? И как допустить, что только в одном этом случае Павел не позволил себе разрешить его в смысле естественной и обычно непреодолимой потребности. Однажды один офицер, бывший в карауле в Гатчинском дворце и стоявший

недалеко от комнаты фаворитки, видел, как оттуда стремительно вышел наследник. В тот же момент женский башмак, с очень высоким каблуком, был пущен в открытую дверь и, попав в ухотившего, задел его по щеке. Не обернувшись, но только сторбившись, Павел удалился. Через минуту в дверях появилась Нелидова и спокойным шагом пошла поднимать свой башмак; она надела его на ногу и вернулась в свою комнату. Вероятно, в этот день они спустились с белоснежных вершин идеала.

Екатерина Ивановна, хотя и способная на поступки далеко не возвышенные, все-таки не была безусловно вульгарной натурой. Находясь в двусмысленном положении, она всегда прилагала все старания к тому, чтобы придать благородство своей роли. Она искренно хотела выполнить высокую нравственную задачу и отчасти успела в своем намерении. Заменяя подле Павла место бедной Марии Федоровны, когда нужно было его утешить, наставить, охранить от излишних проявлений чувствительности и от умственных заблуждений, она в большинстве случаев являлась его спасительницей. Но игра была опасная, и намерение приобщить к ней, для полной гармонии, супругу и подругу составляло задачу трудно выполнимую.

После отъезда госпожи Бенкендорф великая княгиня, находясь еще под влиянием благоговевшей перед ней «*chère Tilly*», разволновалась, испугалась и, совершенно утратив свое простодушное доверие, дошла до того, что поведала свекрови «о своем несчастье». Императрица подвела ее к зеркалу.

– Посмотри на себя и вспомни лицо «*petit monstre*».

В глубине души императрица сознавала, что семейная жизнь сына непоправимо разрушена, и радовалась этому. Когда Мария Федоровна потребовала удаления фаворитки, она не изъявила на это своего согласия. Екатерина Ивановна оставалась в Павловске, и в начале 1792 года великая княгиня, приготавливаясь опять к родам, обещавшим быть очень трудными, советовала Плещееву хорошенько угождать – той, кто в скором времени может сделаться «второй Ментенон».

Павел, со своей стороны, делал предписания лицам своей свиты, формулированные так одним из них: «Уважение к Нелидовой, презрение к великой княгине». А Никита Петрович Панин, племянник прежнего гувернера, делая вид, что не хочет считаться с этими предписаниями, получил следующее предостережение:

– *Le chemin que vous prenez, monsieur, ne peut vous conduire qu'à la porte ou a la fenetre.*

Павел обещал избить палкой садовника в Царском Селе, провинившегося в том, что послал фрукты владелице Павловска! Но в это время, хотя неистовства великого князя и сопровождалось добродетельными и даже святыми порывами и таким горячим и частым проявлением благоговейного усердия, что гатчинский паркет сохранял следы его коленопреклонений, он уже никого не щадил, и даже «божественной» Екатерине Ивановне приходилось от него терпеть.

Не особенно стесняясь выбором находившихся в ее распоряжении средств защиты, она сохраняла себе поддержку в известных нам отношениях с Кутайсовым но, испугавшись шума, надланного всей этой историей, она еще раз пустила в ход притворство, попросив у императрицы разрешения удалиться в Смольный «с сердцем столь же чистым, с каким она его оставила». Павлу не стоило большого труда ее удержать; но он не замедлил дать ей раскаться в своей уступчивости.

V

«Сердце этого человека для меня лабиринт, – писала она вскоре после того Александру Куракину... – Я готова от всего отказаться». Очарование нарушено. Живя втроем, трудно было сохранить согласие между двоими. Ростопчин упоминает о любовных похождениях

Павла, которые фаворитка оставляла без внимания, между тем как сама очень волновалась, когда великий князь излил свое дурное настроение на ее дорогого Куракина. Вступив на скользкий путь неизбежных разочарований, обе стороны находили повод ссориться из-за малейших пустяков.

Павел, становясь все более и более мрачным, раздраженным и несдержанным, сам попал в тот поток, в котором должны были потонуть все его радости. Влияние Нелидовой, хотя и сильно уже пошатнувшееся, некоторое время еще одерживало верх, и в 1793 году даже Мария Федоровна не погнушалась им воспользоваться. Великий князь отказался присутствовать на бракосочетании своего старшего сына, не потому, что он был против этого брака, но потому, что его отношения с матерью становились все более натянутыми. После вмешательства фаворитки он повиновался, но остался недоволен ей, и великая княгиня, может быть, на это рассчитывала.

В этом инциденте, полагали, и был толчок для нового союза, заключенного после примирения обеими женщинами, чтобы защитить от самих себя предмет их общей любви. Согласие в действительности должно было быть восстановлено, но несколько позже. В этот момент Мария Федоровна еще не отказывалась от своих новых предубеждений. «Эта девушка – бич», писала она Плещееву. Отношения их были таковы, что Павлу приписывали даже намерение прибегнуть к помощи своей подруги, чтобы отравить свою жену; видя, что возврат к добрым отношениям невозможен, Екатерина Ивановна на этот раз уже серьезно решила удалиться на покой. Но даже и в этом решении Мария Федоровна опять находила «нечто подозрительное», в чем на этот раз не ошибся ее женский инстинкт.

Когда отставка была решена, фаворитка искусно повела дело об условиях. В роскошно обставленном помещении Смольного, «снабженном всем, что только могут придумать тонкий вкус и богатство», одаренная и награжденная Екатериной и Марией Федоровной, она более чем когда-либо выказывала бескорыстие, укоряя Павла за то, что он ее «тревожит» и своей ненужной ей щедростью «заставляет ее сердце обливаться кровью». Ей ничего не нужно в избранном ею убежище. – Вернется ли она в Павловск? – Нет, никогда! – Хоть на неделю? – Даже ни на одни сутки! Она навсегда простилась с придворной жизнью. Однако вскоре после этого Ростопчин заметил, что ее отсутствие при дворе совершенно не ощущается, так часто возвращается туда «маленькая чародейка!» А следующей весной, так как Павел настаивал, Павловск снова принял ее на целые месяцы.

Только тогда Мария Федоровна, потеряв надежду от нее отделаться, решила примириться с этим «бичом». Она не выиграла от ее удаления. Павел, оторванный от одного из тех двух существ, с которыми он привык делить свою жизнь, стал еще хуже относиться к другому. Вслед за «chère Tilly» он отнял у бедной Марии Федоровны и верного Лафермьера. После тридцатилетней безупречной службы, последний был вынужден искать убежище в провинции, в усадьбе одного из Воронцовых; и в этом уединении он и умер в 1796 году. В то же время наследник держал себя самым вызывающим образом по отношению к той, которой он желал наследовать. Он стал очень редко ездить в Петербург, оставался там лишь очень недолго и высказывался везде крайне несдержанно.

Мария Федоровна, быть может, не знала подробно о намерении лишить его престола, уже составленном и медленно созревшим в уме императрицы, но она достаточно хорошо знала характер своей свекрови, чтобы предполагать, что ею можно безнаказанно пренебрегать. Кроме того, принятое Павлом решение лишь изредка появляться при императорском дворе отдаляло великую княгиню от ее старших сыновей, которых обыкновенно там удерживали. Она предполагала, что, при содействии Нелидовой, им удастся общими усилиями изменить это тяжелое и опасное положение, и поэтому жизнь втроем была восстановлена.

Сначала казалось, что это привело к счастливым результатам. Великая княгиня, послушно следуя советам «маленькой чародейки», постаралась более, чем прежде, приме-

ниться к фантазиям своего супруга. Она вставала в 4 часа утра, чтобы сопровождать его на маневры. Он, видимо, был этим тронут, но это возрождение могло иметь значение лишь в сближении обеих женщин.

Добрые отношения между фавориткой и Кутайсовым связывали, в свою очередь, слишком разные темпераменты для того, чтобы сохраниться при наличии их разнородных честолюбивых стремлений. В 1795 году, когда у Нелидовой произошел по какому-то поводу конфликт с Кутайсовым, он решил выставить ей соперницу. Исполнить это было нетрудно при той нравственной неустойчивости, которой поддавался великий князь. Павел послушно дал себя проводить в комнату одной из заштатных фрейлин, Наталии Федоровны Веригиной. Молодая и довольно хорошенькая, она была уже невестой Сергея Плещеева; Павел это знал, но не считал нужным задумываться.

Нелидова могла бы испытать вполне справедливую досаду; но она проявила гнев, совершенно непростительный для простого друга, она вполне приняла вид покинутой любовницы и в апреле 1796 г. неожиданно уехала из Павловска, написав при этом Куракину:

«Какая непоследовательность! Какое легкомыслие! Я прощаю неблагодарность, потому что не она его погубит; но довериться, очертя голову, не рассуждая, не зная ни характера, ни образа мыслей!.. Только жалость не дает проникнуть в мое сердце презрению, которое все время мне подсказывает мой рассудок... Не упоминайте обо мне в ваших письмах, потому что не мне их теперь показывают... Их показывают, их выносят на площадь – и перед кем! Благодаря приезду моей матери, я воспользовалась ее пребыванием в городе, чтобы уехать с дачи, куда ничто не в состоянии заставить меня вернуться... Я видела, как друг самый преданный и, как мне казалось, самый нежный, день ото дня становился самым жестоким, самым несправедливым человеком, яростно преследующим все, что мне принадлежит... Стыд и, несомненно, угрызения совести, от которых он старается отвлечься и которые стремятся заглушить в глубине своего сердца, делают моим тираном того, из-за кого я столько страдала».

На этот раз она – в течение нескольких месяцев – оставалась верна своему решению. Всегда практичная и умевшая приспособляться к обстоятельствам, Мария Федоровна перенесла свою корыстную снисходительность на новую фаворитку, «la chère Chabrinka», как она называла ее уменьшительным именем. Нелидова устояла против примирительных попыток Куракина, даже после того, как Павел, которому быстро надоела эта интрига, направил все усилия к тому, чтобы получить за нее прощение. Бывшая фаворитка имела другие причины оставаться непоколебимой.

«Нет, писала она, ничто не могло бы меня заставить возобновить обманутую дружбу... Ее очарование разрушено... Зачем хотите вы, чтобы я с ним виделась? Он ничего от этого не выигрывает. Он обесчестил себя в моих глазах!.. Я не обращаю больше никакого внимания на движение души, способной на ряд низких поступков... Я чувствую себя дальше, чем когда бы то ни было, от всего, что могло бы повести к сближению, о котором я не могу думать без ужаса и последствия которого рисуют мне картины ада... Я получаю в настоящее время воров извинений и оправданий. Все это только усиливает мое отвращение».

Эти последние строки были написаны 1 ноября 1796 г. Через несколько недель та же рука писала другие, предназначенные тому же лицу, и в них говорилось следующее:

«Чем более я изучаю это сердце (сердце Павла, предмет недавней пылкой ненависти), тем более я верю, что мы имеем полное основание надеяться, что он составит счастье всех, кого поручила ему судьба. Как мне хотелось бы, чтобы его узнал весь мир!».

И вскоре после того добровольная затворница Смольного вновь появилась рядом с человеком, вчера еще «навечно обесчещенным» в ее глазах, а сегодня снова ставшим «ее дорогим Павлушей».

Что же произошло за это время? 6/17 ноября, у постели умирающей Екатерины, Павел, собираясь вступить в права наследства, осчастливил в течение четверти часа разговором младшего брата Екатерины Ивановны, Аркадия Нелидова. На другой день он произвел этого двадцатитрехлетнего молодого человека в чин майора и назначил адъютантом. Но перед тем сестра счастливого офицера, как и все в Петербурге и даже в Павловске, имела самые серьезные подозрения, что наследие ускользнет из рук наследника. В тот момент, когда она намеревалась покинуть Павловск, наступал решительный период вражды между матерью и сыном, и в числе мотивов, подсказывавших ей ее решение, Нелидова указывала на свою «священную привязанность» к императрице. Она сделала выбор между матерью и сыном.

VI

Летом 1792 года влияние Екатерины Ивановны, имевшее своим последствием ссору между Павлом и его супругой, достигло своего апогея, и в это же время, судя по признаниям Екатерины Гримму, намерения ее о передаче после нее наследования престола были окончательно выяснены. Александр скоро женится и через некоторое время будет не только объявлен наследником, но и коронован! Бракосочетание старшего сына Павла было отпраздновано 28 сентября 1793 года, а через несколько недель Екатерина призвала Цезаря Лагарпа и продержала его у себя более двух часов. Надлежало предупредить молодого великого князя и увериться в его согласии на предполагаемую перемену.

Образ мыслей Александра был уже настолько неуловим, его сердце так непроницаемо, что, несмотря на все свое умение управлять людьми, великая государыня отказалась от желанного собственными средствами позондировать почву и приобщить к своим намерениям молодого человека. Она предпочла прибегнуть к услугам наставника. Не открывая ему своего замысла, она пыталась заставить его угадать.

Если верить его собственному свидетельству, то сообразительный вальдеец ускользнул от предложенной ему таким образом миссии: он дал понять императрице, что и не подозревает даже, в чем тут дело, и был бы неспособен за это взяться; потом он, по собственному рассказу, поторопился предупредить Павла о том, что ему угрожает, приложив в то же время все старания к сближению отца с сыном. Заметив эту проделку, Екатерина выслала из пределов России обманувшего ее доверие швейцарца, сославшись на его политические воззрения, которые, впрочем, были ей давно, известны. Говорят, будто она ему сказала при его приезде в Петербург:

– Сударь, будьте якобинцем, республиканцем, всем, чем хотите; я считаю вас честным человеком, и мне этого достаточно.

Рассказ изгнанника содержит, вероятно, долю правды, но несомненно и долю неточностей. Свидание, имевшее своим последствием его удаление, происходило 18 октября 1793 года, а он был удален только 23 октября следующего года. Параллельное развитие французской революции и русской политики, с их все более и более возрастающим в это время несогласием, послужило, очевидно, главным поводом к принятию этой меры. Но вполне вероятно тоже, что Екатерина удерживала в течение двух часов Лагарпа не ради одной приятности разговора с ним, так как она в то же время пыталась посвятить в свою тайну и Марию Федоровну и сделать ее своей сообщницей в задуманном ей государственном перевороте.

Встретив с разных сторон неожиданные препятствия, она отложила слишком поспешное выполнение программы, о которой сообщала Гримму, но не отказалась от своего замысла.

Павел делал все, чтобы еще более утвердить ее в ее намерении, сильнее ожесточаясь под угрозой, держал себя вызывающе и умножал свои выходки. В Павловске и Гатчине он распространял вокруг себя ужас. В Петербурге и в Царском Селе его редкие появления при-

водили двор в смущение. Показывались озабоченные лица и принужденные позы. Пажи дрожали, открывая двери перед редким посетителем. Молодые великие князья тоже разделяли общее впечатление. С отъездом Павла императорские резиденции снова принимали свой праздничный вид, и Екатерина писала Гримму: *Die schwere Bagage ist abgegangen; wenn die Katze nicht zu House ist, so tanzen die Mäuse ueber die Tische und sind glücklich.*

Но было легче шутить о «тяжелом обозе» или о кошке, предоставляющей своим уходом свободу мышам, чем избавиться от этого стеснения.

В 1794 году императрица решила перенести дело в свой Совет. Мы не знаем достоверно, что там произошло. Судя по слухам об этих секретных заседаниях, проникшим в публику, один только член собрания сделал возражение, ссылаясь на то, что характер великого князя может измениться после его вступления на престол. Одни говорили, что эти возражения сделал граф Валентин Пушкин, другие приписывали их Безбородко, чем и объяснялось возвышение последнего после воцарения Павла. Однако совершенно недопустимо, чтобы Екатерина отступила перед единственным противником; верно только, что результатом этой попытки было то, что решение отложили на неопределенное время. Лишь два года спустя императрица, и довольно неудачно, снова обратилась к тому же вопросу. Она старилась.

Уже в 1789 году императрица сделала свое меланхолическое признание Храповицкому: «Я не нахожу больше средств!» Между тем она сохраняла ту «непоколебимость», которой всегда хвалилась: «Препятствия созданы для того, чтобы достойные люди их отстраняли и тем умножали свою славу, сказала она однажды Фальконе: вот значение препятствий». Она всегда стремилась их побороть. Она «вызывала также всякого идти наперекор ее воле».

В июне 1796 года у Марии Федоровны родился третий сын. С этой стороны ее супружеская жизнь протекала без перемен, смущавших ее в других отношениях. Если Павел и переставал разговаривать с женой, то он не лишал ее прибавления семейства. Роды происходили, как всегда, в Царском Селе, и так как Павел торопился сейчас же уехать в Гатчину, то Екатерина осталась ухаживать за своей невесткой. Как только последняя поправилась, императрица предложила ей подписать бумагу, в которой предлагала потребовать от мужа отречения его от прав на престол в пользу старшего сына.

Осведомленная очень точно обо всем происходящем в Павловске и в Гатчине, Екатерина, конечно, представляла себе, какое положение создал себе Павел в кругу своих; Ростопчин так изобразил его два года спустя: «Великий князь Александр ненавидит отца; великий князь Константин его боится, дочери, воспитанные матерью, смотрят на него с отвращением, и все это улыбается и желало бы видеть его обращенным в прах». Однако императрица забыла принять во внимание глубокую порядочность Марии Федоровны или же ее честолюбие, которое хотя и уступало честолюбию Павла, но, тем не менее, было развито в ней очень сильно. Великая княгиня наотрез отказала, сохранив это предложение в тайне. Павел узнал о нем уже после смерти матери, когда разбирался в ее бумагах. Он рассердился тогда на жену за то, что она скрыла от него об этом, и не был ей вовсе благодарен за ее отказ. Действительно, подписав бумагу, она и сама лишилась бы короны.

Неудачны были попытки Екатерины. Несколько месяцев спустя она решила вступить в непосредственные переговоры со своим внуком и, по-видимому, добилась своего. 24 сентября 1796 г., в тот момент, когда Нелидова оттолкнула, – и нам известно, с каким презрением, – мольбы Павла о прощении, Александр дал письменное согласие на проект, лишавший престола его отца, и горячо благодарил свою бабушку за оказанное ему предпочтение. Документ этот был найден в бумагах Зубова.

Было ли это согласие только симулировано, как предполагали? Никто даже из самых близких друзей будущего восторженного поклонника и непримиримого противника Наполеона не мог когда-нибудь надеяться прочесть его мысли. Тем же самым пером и в тот же час молодой великий князь писал письмо Аракчееву, где заранее давал своему отцу титул

Императорского Величества. Ведя переписку с Лагарпом, он отвергал, даже при нормальном порядке вещей, всякое желание царствовать. Двор был ему ненавистен; мысль об управлении государством приводила его в трепет; он только и думал, как бы ему удалиться в Швейцарию и жить там спокойно, как простой смертный. С другой стороны, его отношения с Павлом в это время улучшились. Уезжая часто из Петербурга, чтобы встретиться с отцом в Павловске или Гатчине, он перенял некоторые его вкусы, а также и некоторые предубеждения. Он писал Виктору Кочубею: «В наших делах господствует неимоверный беспорядок; грабят со всех сторон; все часто управляется дурно; порядок, кажется, изгнан отовсюду».

Полагают, что Александр, делая вид, будто повинуетя воле своей бабушки, обдумывал вместе с родителями средства к разрушению ее замыслов. В этом смысле объясняют и записку Марии Федоровны, посланную ему: «Ради Бога, держитесь условленного плана. Мужайтесь и поступайте честно, дитя мое! Бог никогда не оставляет невинность и добродетель». Но мы ничего не знаем об упомянутом плане, кроме того, что, по свидетельству графини Эдлинг, Александр предполагал избавить себя от исполнения намерений императрицы, скрывшись вместе с женой в Америку. Но несколько лет спустя, надев корону, обогретенную кровью, пролитой быть может при его более или менее сознательном содействии, он тоже выказывал отвращение к власти и хотел все бросить.

Задача эта неразрешима, так как все подробности этой главы истории, окружены тайной. По всеобщему мнению, в момент своей смерти Екатерина собиралась опубликовать манифест, объявляющий приговор великому князю, на который она получила согласие главных государственных деятелей, как-то: Румянцева, Суворова, Зубова, с. – петербургского митрополита Гавриила и самого Безбородко. Но до нас не дошел ни один подобный документ. Говорили также о завещании, составленном императрицей в том же смысле. Но для Екатерины не было тайной, какая судьба обычно ожидает такого рода акты и что, говоря языком политики, «мертвые не имеют воли», как это было заявлено тридцать лет спустя в Совете ее Империи.

Совершенно очевидно, что ей хотелось наладить это дело еще при жизни, но, не успев его быстро привести в исполнение, она была застигнута событием, с которым все мы должны считаться и которое однако так часто разрушает наши самые мудрые расчеты.

Смерть разом и бесповоротно рассудила все вопросы между матерью и сыном, не смущаясь тем, что в их продолжительной ссоре трудно было решить, кто прав, кто виноват. Екатерина не была совершенно безупречна; но ее соперница в славе в современной ей истории, Мария-Терезия, совершенно безупречная, сделала не лучше, доведя свою снисходительность до раздела власти со своим сыном. В последнем споре право было, конечно, на стороне Павла: но в пренебрежении этим правом у Екатерины было оправдание, которое ее сын подчеркнул еще сильнее, когда стал царствовать.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ ЦАРСТВОВАНИЕ

Глава 4 Вступление на престол

I

Около трех часов пополудни 5-го (16-го) ноября 1796 года Павел находился в Гатчине на «мельнице» и пил кофе. Внезапно прибежавший во всю прыть слуга возвестил ему о приезде Николая Зубова. Великий князь страшно побледнел. Этот мрачный гигант, брат фаворита Екатерины, мог приехать только с враждебными намерениями. Прошлой ночью Павел видел дурной сон, воспоминание о котором все еще его преследовало, а более серьезные причины к беспокойству поддерживали в нем с некоторых пор постоянную тревогу.

– Мы погибли, дорогая! – прошептал он на ухо жене. Однако лакей не казался взволнованным.

– Сколько их? – спросил его государь.

– Они одни, ваше высочество...

Сняв шляпу, Павел набожно перекрестился и глубоко и облегченно вздохнул.

Ростопчин дает формальное опровержение этого рассказа, приведенного свидетелем-очевидцем. Павел будто бы вовсе не испугался, предположив, напротив, что Зубов принес добрую весть: о возобновлении недавно прерванных переговоров о замужестве великой княжны Александры Павловны со шведским королем. Но Ростопчина там не было. С другой стороны, по данным «Гоф-фурьерского Журнала», еще раньше Зубова приехал один офицер, – может быть, поляк Илинский, о котором говорит третий свидетель, – привезший записку Салтыкова, возвещавшую о происшедшем с Екатериной ударе.

Это неважно. Даже узнав о событии, угрожавшем опасностью жизни его матери, Павел не мог еще вполне успокоиться. Может быть, Зубов явился для того, чтобы сообщить ему последнюю волю умирающей, а какова она? Но гигант, бросившись навстречу наследнику, упал на колени, и это разрешало все сомнения. Павел, при всем своем возбуждении, должен был увидеть, что его долгое ожидание приходит к концу.

При овладевшем им, вполне понятном, волнении, он обнаружил некоторое смущение. Ударяя себя по лбу, как он всегда делал, когда был сильно озабочен, он расспрашивал о подробностях происшествия и о возможных его последствиях, прерывая свои вопросы все одним и тем же восклицанием: «Какое несчастье!», которое, быть может, отвечало совершенно искреннему движению его сердца. Такие события, затрагивая сокровенные глубины человеческого существа, вызывают даже в самых черствых натурах хотя бы мгновенные вспышки нежности бескорыстия. А Павел обладал от природы любящим сердцем, и дело шло о его матери!

Тем не менее, вместе с охватившим его вполне понятным волнением, он обнаруживал и беспокойство. Он плакал, требовал лошадей, сердился, что не достаточно скоро запрягают, ходил взад и вперед быстрыми шагами, как человек, который не может усидеть на месте; но, когда карета была подана, он не торопился садиться. Он волновался, говорил сам с собой:

«Застану ли я еще ее в живых!» Целуя поочередно жену, Зубова и Кутайсова, он заметно старался выиграть время. У него оставались сомнения, и ему было страшно.

Новости однако прибывали. По дороге из Петербурга в Гатчину тянулась длинная вереница саней. Курьеры не останавливались на станциях. Один из поваров Зимнего Дворца и рыбный подрядчик тоже послали курьера. Как ни спешил Ростопчин, его опередили. На полдороге он встретил Николая Зубова, который возвращался впереди наследника и разносил начальника почтовой станции в Софии.

– Лошадей, или я запрягу тебя самого! Лошадей для государя!

– Какого государя?

Четыре года спустя, при восшествии на престол Александра, Мария Федоровна повторила тот же вопрос.

Павел уехал только в 5 часов вечера и вовсе не спешил. Было 8 часов, когда он подъехал к воротам столицы. Около Чесменского дворца он приказал остановиться, вышел из экипажа и беседовал с Ростопчиным о красоте ночи, тихой, ясной и относительно теплой. Он расчувствовался, смотря на луну, как этого и требовала сентиментальность века, и, заметив на его глазах слезы, его собеседник забыл разницу их положений. Он схватил его руки.

– Ах! ваше высочество! какая минута для вас. В ответ на это Павел его крепко обнял.

– Подождите, дорогой мой, подождите. Я прожил сорок два года; Бог был мне поддержкой; может быть Он мне даст силы и разума выдержать бремя, возлагаемое Им на меня.

Значит, в этот момент он больше не сомневался, что должен немедленно начать царствовать. А между тем смерть еще не завершила своего дела. По последним свидетельствам, врачи не решались высказаться определенно. Но, увидав Зубова у своих ног, Павел получил еще новые данные для учета грядущих событий. Уже большая часть двора императрицы теснилась около сына. А между тем первоначальная тревога наследника имела до некоторой степени свои основания.

II

Среди сановников, собравшихся вокруг умирающей государыни, было сначала, судя по всему, много замешательства. Там находились; оба Зубова, Платон и Николай, а также Безбородко и Алексей Орлов. Никто из этих людей не питал очень доброжелательных чувств к великому князю. Все, кроме того, знали о последних намерениях Екатерины. Слух о существовании завещания императрицы, лишаящего Павла прав престолонаследия, не имел, в сущности, другого подтверждения, кроме всеобщей и очень распространенной в то время веры в это предположение. С тех пор один А. М. Тургенев, в своих пометках на полях мемуаров Грибовского, высказался совершенно утвердительно в этом смысле, упрекая Безбородко в выдаче документа Павлу. Автор знаменитой строфы, затронувшей этот факт, Державин, упомянувший о нем, как поэт, оказался более сдержанным в качестве историка. Но перед смертью Екатерина могла прийти в сознание и заговорить. Александр, ставший уже популярным, мог начать действовать.

По свидетельству графини Головиной, преданный Гатчинскому помещику Салтыков принял будто бы меры, чтобы внук не подходил близко к бабке. Предосторожность эта была излишня. Молодой великий князь из чувства сыновнего уважения и столь же по нерешительности своего характера ничего не предпринимал, кроме того, что попросил Ростопчина отправиться в Гатчину, и то когда Павел был уже в дороге.

Один Алексей Орлов в этот трагический момент выказал себя способным к инициативе, и то не в том смысле, который мог напугать законного наследника. По свидетельству Ростопчина, это он распорядился послать в Гатчину Николая Зубова.

По приезде, Павел устроился в кабинете, прилегающем к той комнате, где кончалась его мать. Обе комнаты были так расположены, что те, кому было нужно получить распоряжения сына, должны были проходить мимо умирающей. «Эта профанация самодержавного величия, говорит графиня Головина, этот недостаток благочестия... неприятно поразил всех». Его грубый эгоизм одержал верх над материальными заботами, требовавшими его внимания, и Павел не заметил сделанной им непристойности.

Екатерина боролась со смертью до следующего вечера. Только утром 6 ноября врачи объявили ее состояние безнадежным. Но в стране, где так долго царила ее твердая воля, кончина великой государыни еще ничего не изменяла. По преданию, Безбородко, поддавшись уговорам Ростопчина, позволил себя убедить передать будущему императору все бумаги императрицы. По другим рассказам, эту любезность оказал Платон Зубов. В «Гоф-фурьерском Журнале» значится: «6-го ноября, утром, после заявления врачей, что надежды больше нет, бумаги императрицы были опечатаны заботами великого князя Александра, графа Безбородко и генерал-прокурора графа Самойлова и в присутствии князя Платона Зубова».

Совершенно невероятно, чтобы Павел не позаботился составить предварительно хотя бы краткую опись этих документов, и следующий рассказ связывался с их осмотром: Безбородко и Зубов будто бы обратили внимание наследника на какой-то конверт, перевязанный черной ленточкой. Обмен немых вопросов, взгляд, указывающий на пылающие рядом в камине огромные дубовые поленья, и конверт обращен в пепел.

Один современник, передающий будто бы рассказ, слышанный им от самого Платона Зубова, говорит, однако, что Павел сломал печати на двух конвертах, из которых в одном был проект указа, объявляющего его отречение от престола, а в другом – распоряжение о водворении его в замок Лоде. И, наконец, будто бы он положил в карман, не читая, третью бумагу, в которой и было завещание, предмет стольких противоречивых догадок. Но, по другой версии, эта последняя бумага была найдена только несколько дней спустя после смерти Екатерины великим князем Александром, которому, вместе с князем Александром Куракиным и, кажется, с Ростопчиным, было поручено просмотреть предварительно опечатанные бумаги покойной. Александр, потребовав от своих сотрудников хранить молчание об этой находке, бросил в огонь документ, передающий ему наследование престолом под регентством Марии Федоровны. Когда все было кончено, Павел спросил сына:

- Вы ничего не нашли, касающегося меня?
- Ничего.
- Слава Богу!

Однако привычка Павла всех подозревать делает этот рассказ совершенно неправдоподобным.

Наконец, по свидетельству княгини Дашковой, благодаря разборке этих бумаг, сын Екатерины нашел письмо Алексея Орлова, которое, устанавливая ответственность автора за убийство Петра III, объявляло императрицу совершенно непричастной к делу, и Павел будто бы поторопился уничтожить это свидетельство. Но в тот момент, когда княгиня, бывшая в ссоре с его матерью, писала свои мемуары, она имела несравненно более серьезные причины досадовать на сына.

Одно несомненно, что наследник, совершенно успокоенный обстоятельствами, сопровождавшими последние минуты Екатерины, не дождался ее кончины, чтобы вступить в права наследования и начать распоряжаться. Первой его заботой было призвать Аракчеева и указать ему, какое место в своей доверии и своем управлении он ему предназначил. Подведя его к Александру, он соединил их руки:

- Соединитесь и помогайте мне.

Прискакав верхом из Гатчины, будущий великий фаворит был покрыт грязью и не имел во что переодеться. Александр провел его к себе и дал ему одну из своих рубашек. Аракчеев,

говорят, велел себя в ней похоронить и хранил ее с тех пор, как святыню, в сафьяновом футляре.

Вчерашний фаворит, Платон Зубов, смотрел на обломки своего счастья. Задыхаясь от горя и тоски, в лихорадочном жару, он бродил по комнате своей повелительницы и не мог добиться, чтобы ему дали только стакан воды! Ростопчин приписывает себе великодушие в оказании ему этой услуги. Накануне генерал Голенищев-Кутузов, будущий герой Наполеоновских войн, приготавливал Платону Александровичу кофе и подавал его ему в постель! Павел не обнаруживал еще никакой враждебности по отношению этого померкшего величия; но, заметив князя Федора Барятинского, одного из предполагаемых сообщников Алексея Орлова в Ропше, он приказал ему оставить дворец и заместил его, как обер-гофмаршала, графом Николаем Шереметевым.

Екатерина еще жила. Только в 9 час. 45 мин. вечера главный лейб-медик Роджерсон заявил, что «все кончено». И тотчас же, если верить Тургеневу, повернувшись по-военному на каблуках у дверей комнаты покойной, надев на голову огромную шляпу и взяв в руку длинную трость, составлявшую принадлежность обмундирования, введенного в Гатчине, новый император закричал хриплым голосом:

– Я вам государь! Попа сюда!

Эта подробность кажется преувеличенной. Но вот другое свидетельство, очень близкое к первому, в письме великой княгини Елизаветы, супруги Александра, написанном матери несколько месяцев спустя.

«О! я была оскорблена недостатком скорби, выказанной императором... В 6 часов вечера (в день смерти Екатерины), мой муж, которого я не видала целый день, пришел в своем новом мундире, император более всего торопился переодеть своих сыновей в эту форму!.. Мой муж повел меня в спальню (где только что скончалась императрица), велел мне опуститься на одно колено и поцеловать руку императора... Оттуда прямо в церковь для принесения присяги... Вот еще отвратительное впечатление, которое мне пришлось испытать... видеть его таким самодовольным, таким счастливым!.. О! это было ужасно».

Так как на приготовление потребовалось довольно много времени, то принесение присяги, предшествуемое чтением манифеста о восшествии на престол, происходило уже в полночь. Этот манифест, составленный в самых обыкновенных выражениях Трощинским, начальником канцелярии Безбородко, ничем не напоминал документ, написанный Павлом вместе с Петром Паниным двенадцать лет назад. Во время церемонии новый император заметил отсутствие Алексея Орлова. Это не могло уже более волновать его, но он возмутился:

– Я не хочу, чтобы он позабыл 28 июня.

Это был день трагического события в Ропше.

Изнуренный, в свои шестьдесят лет, усталостью и волнениями двух последних дней, Орлов просто отдыхал в постели, с которой и было приказано Ростопчину его стащить.

Генерал Архаров, этот наводивший на всех ужас полицейский, сопровождал его. Видя, что старик совершенно теряет силы, они взяли на себя смелость просить его только расписаться. Но, поднявшись и встав перед иконой со светильником в руке, вместо свечи, чесменский герой захотел предварительно громко произнести слова присяги. Он не обнаружил ни малейшего смущения.

В то же время Александр вместе с Аракчеевым, по приказанию отца, расставлял по улицам караульные будки, выкрашенные в прусские цвета, белый и черный, и ставил в них часовых.

Павел, наконец, царствовал!

III

Толпа любит перемену, и поэтому наступление нового царствования обыкновенно приветствуется радостными манифестациями. На этот раз ликование не было всеобщим, а в некоторых кругах преобладало даже обратное чувство. «Не хватает слов, пишет один гвардейский офицер (Саблуков), выразить скорбь, испытанную и проявленную каждым офицером и каждым солдатом... Весь полк буквально обливался слезами... Мне говорили, что то же самое имело место в других полках, и что всеобщее горе выражалось таким же образом в приходских церквях». Массон подтверждает это наблюдение еще резче: «Важнейшие обитатели столицы пребывали в немом ужасе. Страх и всеобщая ненависть, внушенные Павлом, точно пробудили в этот момент любовь и сожаление, заслуженные Екатериной».

Состарившаяся и знававшая неудачи покойная императрица, находясь в могиле, может быть и не вызвала таких лестных чувств, но те, которые возбуждал к себе Павел были еще менее лестными. «Это будет, как в Гатчине», говорили про себя. И новый государь не замедлил оправдать это опасение. Караульные будки прусского образца дополнили ночью обстановку неожиданного для всех события, так давно им обдуманного и подготовленного.

«Все переменялось меньше чем через день», говорит князь Чарторыйский, «костюмы, лица, наружность, походка, занятия». Утром 7-го ноября, до полудня, двор казался совершенно новым. Гатчинцы выступали на сцену. «Милосердный Боже, какие костюмы! – замечает Саблуков. Несмотря на нашу печаль о смерти императрицы, мы держались за бока со смеху при виде этого маскарада». Массон сравнивает эту картину с крепостью, взятой приступом. А Шишков – с неприятельским нашествием.

«Весь блеск, вся величавость и важность двора исчезли, читаем мы в другом месте. Везде появились солдаты с ружьями. Знаменитейшие особы, первостепенные чиновники стояли с поникшею головой, неприметные в толпе народной. Вместо них незнакомые люди приходили, уходили, бегали, повелевали». И еще: «Дворец был обращен в кордегардию. Везде стук офицерских сапог, бряцанье шпор»...

Не покажется ли вам, что эта картина напоминает Тюильри на следующий день после 10 августа 1792 года?

Император появился в свою очередь в знакомом уже нам смешном наряде. Он произвел смотр одному из гвардейских полков, Измайловскому. «Во время церемониального марша было видно, как он ворочал глазами, надувал щеки, пожимал плечами, топал ногой, чтобы показать свое неудовольствие. Потом он прищпорил свою лошадь Помпона и поскакал галопом навстречу Гатчинским командам, торжественно вступавшим в С.-Петербург».

В то же время, по свидетельству Саблукова, столица внезапно приняла «вид немецкого города, существовавшего два или три века назад». Как это недавно было в Павловске и Гатчине, полицейские сновали по улицам, срывая с прохожих круглые шляпы и разрывая их на куски, срезая полы фраков, сюртуков и шинелей. Даже племянник английского посланника, Витворта, очень элегантный молодой человек, не избег этой участи.

Перемены не ограничивались подробностями костюма. «Не только наш дом на Черной Речке, но весь Петербург и вся Россия были перевернуты вверх дном», уверяет Греч, а более чуткие натуры с грустью испытывали впечатление нравственного развала. «Давя все и добиваясь до самых незначительных сторон жизни, говорит еще Саблуков, деспотизм давал себя еще более чувствовать оттого, что он следовал за относительно широкой свободой личности». Когда говорили громко, то новую эпоху называли: «Возрождением»; вполголоса: «Царством власти, силы и страха»; а совсем тихо, с глазу на глаз: «Затмением свыше».

Эти свидетельства должны быть приняты с осторожностью. Перемены, представленные ими в слишком ярких красках, на самом деле не были ни так резки, ни так широки.

Указ, запрещавший круглые шляпы, высокие сапоги, длинные панталоны, башмаки с завязками и предписывавший, как установленную указом форму – треуголку, зачесанные назад волосы, напудренные и заплетенные в косу, башмаки с пряжками, короткие панталоны, стоячий воротник и проч., был опубликован только 13-го января 1797 г., и Екатерина уже тоже неоднократно отменяла ношение «больших галстухов». «Свобода личности», которою она предоставляла наслаждаться своим подданным, имела тоже очень узкие границы. С другой стороны, если решение изменить все, сделанное его матерью, обратилось у Павла впоследствии в крайность, то вначале он старался этим не увлекаться и кое-что щадил. Он в первый момент спешил насладиться полученной властью и был слишком счастлив, чтобы ей злоупотреблять.

Удовлетворившись несколькими карательными распоряжениями, вызванными особенно болезненными личными его счетами, он начал даже с того, что утвердил в должностях большинство из высших чиновников и офицеров, служивших при дворе, которых недавно собирався выгнать хлыстом. Оставив старика Остермана номинальным руководителем иностранных дел, которые в действительности в последнее время вела сама Екатерина вместе с Безбородко, Марковым и Зубовым, он простер свое уважение к его заслугам до того, что возвел этого состарившегося дипломата в звание канцлера. Один Марков был уволен из этого ведомства, а при дворе гофмаршал Колычев, посланный потом в Париж, разделил опалу Барятинского.

Отставки, вначале очень немногочисленные, имели главной своей причиной необходимость освободить место слугам и друзьям нового государя. Вместе с Аракчеевым, назначенным с. – петербургским комендантом и награжденным чудным именем Грузино, которое он потом прославил, не был, разумеется, забыт и Кутайсов. Одновременно с должностью гардеробмейстера ему поручили главное наблюдение за придворной прислугой.

В бумагах императрицы Павел нашел лист производств, предположенных на 1-е января. Он в нем ничего не изменил. Курляндец фон дер Ховен фигурировал там как сенатор. Павел его не выносил. Он никогда не сказал с ним ни слова, но допустил его в это высокое учреждение.

Прислуге Екатерины пришлось хуже. Оба ее любимых камердинера пострадали; один, Захар Зотов. – «Захарушка», – подвергся заключению в Петропавловскую крепость, где он сошел с ума, а другой – Секретарев, был сослан в Оренбург. Екатерина получила этого второго слугу в наследство от Потемкина и, разделяя опалу камердинера, два прежние секретаря князя Таврического, Попов и Гарновский, были тоже уволены от должности. Новый государь не пощадил даже духовника императрицы, отца Савву, назначенного ею и его духовником. Отданный под суд и оправданный, священник был уволен от службы и отослан в провинцию. Однако Павел назначил ему пенсию в 6000 рублей.

Он оказался не менее щедр по отношению к первой камер-юнгфере покойной, Марии Савишне Перекусихиной и к ее кафешенку Осипу Моисееву. Под влиянием своей радости, он был более склонен к щедрости, чем к взысканию. Милости, отличия и награды сыпались на его подданных, «уже не дождем, а ливнем», по выражению Роджерсона. Он давал даже тем, кого удалял, и подарил, например, не только 150000 рублей старому своему другу Александру Куракину на уплату долгов, но еще по 100000 рублей Маркову и Попову на покупку домов. В три недели он истратил таким образом более миллиона. Производившееся в то же время пожалование земель, тысячами десятин, велось еще более щедро, а что касается орденов, то Павел их не раздавал, а рассыпал, по словам одного современника. Ему хотелось дать даже тем, кто не желал брать, и он поссорился из-за этого с московским митрополитом, своим прежним духовником.

Наряду со щедростью, он проявил также необыкновенное милосердие, заботясь, видимо, о том, чтобы с ним делили его радость и чтобы его любили. Он освободил всех

содержавшихся «по тайной экспедиции» и даровал всеобщую амнистию всем чинам, находившимся под судом или следствием, кроме тех, кто содержался по особо важным преступлениям, как то: смертоубийство или похищение казенного имущества. Вместе с Новиковым и Радищев, автор знаменитого «Путешествия из С.-Петербурга в Москву», был возвращен из ссылки.

29 ноября 1796 года были также освобождены и поляки, заключенные частью в Петербурге со времени последней войны за независимость, частью работавшие при сооружении Рогервикского порта.

По свидетельству Роджерсона, Екатерина, относясь с уважением знаменитому победителю при Мацеиовицах, которого она однако снисходительно называла «мой бедный дурачок Костюшка», сама собиралась в скором времени освободить героя, и тюрьма, которую она хотела отпереть, вовсе не походила на темный каземат, изображенный на гравюрах того времени. Бывший диктатор занимал помещение в нижнем этаже самого лучшего здания в столице, знаменитого *Мраморного дворца*. Но Павел мечтал сделать лучше. Он хотел пойти вместе со своим сыном Александром и лично объявить польскому герою свое милостивое решение его участи. С давних пор он оплакивал его горькую долю и радовался, что может теперь ее облегчить.

Свидание было трогательное. Костюшко с беспокойством осведомлялся о судьбе своих товарищей по заключению, и Александр, со слезами, обнял его несколько раз, а Павел, если верить одному из заключенных, Немцевичу, тоже расчувствовался и дал волю своей обычно несдержанности в словах.

– «Я знаю, что вы много страдали, что с вами долго дурно обходились; но во время прошлого царствования так относились ко всем порядочным людям, ко мне – первому. Мои министры были категорически против вашего освобождения. Я один отстаивал свое мнение и не, знаю, как мне удалось одержать верх. Вообще эти господа желали бы водить меня за нос; по несчастью, у меня его нет...»

При этих словах он провел рукой по лицу.

– «Вы свободны, но обещайте мне сидеть смиренно... Я всегда был против раздела Польши: раздел этот несправедлив и противен здоровой политике; но это сделано. Чтобы восстановить ваше отечество, потребно согласие трех держав. Есть ли малейшая вероятность, чтобы Австрия и в особенности Пруссия уступили свои части? Неужели я один должен потерять свою и тем ослабить себя, в то время как другие усиливаются?..»

Костюшко, по-видимому, обнаружил при этом столько же скромности, сколько и достоинства. Он изъявил желание отправиться в Америку, на что и последовало разрешение. Осыпанный почестями, к которым присоединились несколько подарков, предложенных самым деликатным образом, он не счел нужным от них отказываться. Он принял специально для него заказанную дорожную карету, столовое белье, посуду, чудную соболью шубу и даже некоторую сумму денег – 60000 рублей по русским источникам и только 12000 по польским – взамен земли, ранее предоставленной в его распоряжение. Мария Федоровна прибавила еще подарки от себя. Во время неволи, герой полюбил заниматься вытачиванием из слоновой кости и самшита. Она подарила ему великолепный токарный станок, стоивший 1000 рублей, а также коллекцию камней, сделанных ею собственноручно. В ответ на это он преподнес императрице табакерку собственной работы, и все расстались наилучшим образом.

Продолжение было менее приятное. В 1798 году, в Вашингтоне, бывший диктатор узнал о победах передовых польских отрядов под знаменами французов. У него явилась надежда вновь принять на себя командование армией и опять сразиться за независимость своей родины. Он сел на первый корабль, уходивший в Европу, и, приехав в Париж, отослал обратно Павлу полученные деньги. Это было и ненужно и непоследовательно, раз он оставил у себя шубу и все остальное. Такой бесполезный шаг сопровождался еще письмом, и

было бы желательно, чтобы содержание последнего не наложило тень на славную память героя. Письмо начиналось так:

«Ваше Величество, я пользуюсь первыми минутами свободы, вкушаемой мною под покровительственными законами величайшей и великодушной нации, чтобы вернуть Вам подарок, который проявленная Вами доброта и жестокое поведение Ваших министров заставили меня принять...»

Однако его надежды на получение командования не оправдались. Пруссия этому воспротивилась. Он не вернул и денег. По приказанию царя они были отосланы обратно и положены в банк Беринга в Лондоне на имя славного воина, который не тронул приносимых ими доходов, однако распорядился ими в своем завещании!

Этот случай, – увы! – еще более утвердил в Павле его известный нам взгляд на людей и на хорошее отношение к ним. Но и его стремление благодетельствовать не было совершенно свободно от посторонних влияний. Плохо продуманная историческая критика занимала в нем главное место, и в то же время ничем не оправданные строгости, по меньшей мере чрезмерные, или неразумные порывы мщения перемешивались с проявлениями великодушия и щедрости. Эта последняя черта не замедлила обнаружиться более резко.

IV

В манифесте о своем восшествии на престол наследник Екатерины не последовал внушениям Петра Панина. Напротив, 26 января 1797 года он приказал вырвать из печатных 1762 года Указных книг листы, содержащие манифест о вступлении на престол покойной государыни, а также все другие официальные постановления, относившиеся к июньскому перевороту. Отмена распоряжений, отданных Екатериной в сентябре 1796 года о новом рекрутском наборе; отзывание армии, посланной в Персию; восстановление в Лифляндии и Эстляндии прежних земских учреждений, уничтоженных императрицей, указывали также с самого начала на решительный поворот во внутренней и внешней политике государства. Павел хотел, кроме того, чтобы спешное возвращение войск, посланных в Персию, совершилось без ведома главнокомандующего, которым был другой брат бывшего фаворита, Валерьян Зубов, чуть было не взятый при таких условиях в плен персами. Казачий атаман Платов, осмелившийся предупредить эту катастрофу, подвергся заключению в крепость. Но забота о получении удовлетворения за государственный переворот, лишивший его, как он упорно продолжал думать, власти, заслонила вскоре все остальное в уме Павла.

Прежде чем приступить к мщению, он и здесь начал с вознаграждения за прежние преследования, призывая в Петербург и осыпая почестями и вниманием опальных товарищей Петра III, офицеров, стоявших в 1761 году на стороне государя. «Со всех концов империи, точно в день воскресения мертвых, стекались старики, умершие в гражданском отношении тридцать пять лет тому назад», говорит Головкин. А между тем, вечно непоследовательный Павел, приняв вначале на короткое время угрожающий вид, относился теперь особенно милостиво к «главному лицу в событии 28 июня», Алексею Орлову. В недалеком будущем он собирался его сослать, но пока, в ноябре 1796 года, в «Гоф-фурьерском Журнале» упоминалось два раза о присутствии этого гостя за императорским столом, где, по случаю траура, приглашенных бывало очень мало!

Но каковы были истинные чувства Павла по отношению к отцу, за которого он мстил, делая вид, что уважает его память? Мы знаем, что он не был уверен (а может быть, только так говорил), действительно ли этот человек его отец. Несколько месяцев спустя он пригласил бывшего польского короля, Понятовского, поселиться в Петербурге; он позвал его обедать и, если верить племяннику короля, то за десертом Павел убеждал его засвидетельствовать,

что он может назвать себя его сыном. Что же касается Петра III, то это был «пьяница, неспособный царствовать».

Достоверность этого факта едва ли допустима; но и истинную мысль Павла очень трудно распознать во всех его действиях, вплоть до двойного погребения Екатерины и ее супруга, подробности которого слишком хорошо известны, чтобы было необходимо их здесь воспроизводить. По мнению Ростопчина, эту мысль внушил Павлу Плещеев, вследствие говорившей в нем ненависти, тогда как под влиянием мистически направленных мыслей, поддерживаемых в государе этим же другом, Павел думал, наоборот, осуществить таким путем за гробом примирение обоих виновников его существования, которых жизнь вооружила друг против друга. Следует заметить, что, по воле Екатерины, Петр III покоем не в общей усыпальнице русских государей в Петропавловской крепости, а в Александро-Невской лавре. Может быть, соединяя оба гроба, Павел не имел другого намерения, как привести все в порядок. Автор аллегорической картины, изображающей похоронную процессию и посвященной Павлу, французский художник А. Анселен, видел, однако, в этой церемонии апофеоз Петра III «к радости русского народа и к ужасу Алексея Орлова». «Убийца», действительно, участвовал в процессии, неся корону, которой муж Екатерины не успел официально короноваться и которой Павел хотел увенчать его в могиле, со всей приличной случаю торжественностью. Но если принять во внимание, что он недавно присутствовал, как нам известно, на обедах, то эта роль может быть считалась и почетной.

Другой рисунок Анселена «Встреча Петра III в Елисейских полях» изображает Орлова и Барятинского умирающими от змеиных укусов. На гравюре Валькера, сделанной тогда же с картины Луизы Перон Лабруе, апофеоз, как и похороны, двойной: Екатерина появляется вместе с супругом.

Очень вероятно, что Павел сам не мог точно объяснить смысл устроенных им манифестаций, и Алексей Орлов, участвуя в процессии, рисковал только схватить бронхит. Мороз был трескучий. Потом он получил распоряжение отправиться за границу, но мог, ведя там роскошную жизнь, мирно дожидаться восшествия на престол Александра. В 1798 году, находясь в Карлсбаде, он устроил в именины Павла блестящий праздник, в благодарность за который получил любезное письмо от императора.

Еще более странным кажется поведение Павла по отношению к Платону Зубову. До 6-го декабря 1795 года бывший фаворит был не только оставлен в должности генерал-фельдцейхмейстера, несмотря на свою полную некомпетентность в артиллерийском деле, но и видел самое лучшее к себе отношение. Оба его секретаря, Альтести и Грибовский, правда, были упрятаны в тюрьму; но в то же время Павел обдумывал, где бы дать удобное помещение их начальнику. Если он и велел ему освободить квартиру в Зимнем дворце, чтобы поместить там Аракчеева, то зато вытесненному жильцу был сейчас же подарен дом, купленный и роскошно обставленный для него государем. Павел поехал с визитом к новому владельцу вместе с Марией Федоровной, и празднование новоселья носило самый непринужденный характер. Пили шампанское.

– Кто старое помянет, тому глаз вон! – сказал Павел, приведя пословицу.

Подняв бокал, он прибавил:

– Сколько здесь капель, столько желаю тебе всего доброго.

Потом он сказал, обращаясь к императрице:

– Выпей все до капли!

В то же время он опорожнил свой бокал и разбил его. Зубов бросился к его ногам, но он его поднял, повторив: «Кто старое помянет...»

Подали чай.

– Разливай! – сказал Павел Марии Федоровне. – У него ведь нет хозяйки.

Через несколько недель, несмотря на эти дружественные проявления, Зубов был уволен в отставку, подвергся потом судебному преследованию, и, наконец, 3-го февраля 1797 года получил приказание выехать за границу. Причина этой внезапной перемены? Довольно трудно видеть ее в известном нам деле о ружьях, в котором генерал-фельдцейхмейстер выказал преступную небрежность. Чтобы выработать себе взгляд на административные дарования бывшего фаворита, Павлу, конечно, не нужно было этого испытания. Объяснение Массона покажется на первый взгляд более удовлетворительным: «Приглядевшись к министру, государь решил, что ему нечего его бояться». Но Павел очень скоро доказал, что он неспособен вложить расчет и последовательность в свои действия.

В то же время он затеял конфликт с другим человеком, враждебное отношение которого, установившееся после этого случая, оказалось для него роковым. Проезжая через Ригу, Зубов нашел там все приготовленным к встрече бывшего польского короля. Так как царственный путешественник не прибыл, а горожане не хотели терять своих издержек, то бывший фаворит, ехавший в сопровождении блестящей свиты, принял почести караула, выставленного у дома Черноголовых, и съел там обед сверженного короля. Узнав об этом, Павел написал курляндскому губернатору, барону фон дер Палену, ругательное письмо, частью относившееся и к военному губернатору города, Христофору Бенкендорфу – супругу «*chère Tilly*».

«Я удивлен всеми подлостями, которые вы обнаружили при проезде князя Зубова через Ригу», писал государь. Пален был сверх того уволен в отставку.

И в то же самое время была начата закладка Михайловского Дворца, где отставленный губернатор отомстил впоследствии за полученную обиду.

Между тем произведенный со времени вступления на престол Павла в звание обер-штаб-майстера и награжденный голубой лентой брат бывшего фаворита, Николай, сохранял еще и то, и другое. Может быть, новый царь платил так за радость, доставленную ему гигантом на мельнице в Гатчине, когда он рассеял его первую тревогу. В общем же в декабре 1796 года стало совершенно ясно, что все действия государя совпадают более и более с направлением его мрачного и мстительного характера. 4-го декабря, через московского главнокомандующего Измайлова, княгиня Дашкова получила распоряжение отправиться в свое имение Троицкое, Калужской губернии, и «разобраться там в своих воспоминаниях 1762 года». Не успела она туда приехать, как новый указ отослал ее по ужасному морозу, в простой кибитке, в Коротово, имение ее сына, находившееся в северной части Новгородской губернии и не имевшее никакого жилого помещения.

Несчастливая женщина, вынужденная поселиться в крестьянской избе, имела своим единственным развлечением мрачный вид многочисленных конвойных, сопровождавших других сосланных в Сибирь. Однажды она узнала между ними своего дальнего родственника, вид которого возбудил в ней жалость и сострадание. Он трясся всем телом, говорил с трудом, и его лицо болезненно подергивалось.

– Вы больны?

– Не больше того, как я, очевидно, буду болен всю мою жизнь.

Гвардейский офицер, обвиненный вместе с некоторыми товарищами в произнесении слов, оскорбительных для нового государя, – несчастный вышел с вывихнутыми членами из комнаты пыток.

Княгиня отделалась от своей опалы меньшим ущербом. С марта следующего года, благодаря письму, которое Мария Федоровна вместе с Нелидовой придумали представить государю через его младшего сына Николая, бывшая подруга Екатерины получила разрешение вернуться в Троицкое. Но в решениях Павла, суровых или милостивых, относившихся к вопросам одного и того же порядка, невозможно обнаружить хотя бы малейшую последовательность. Может быть, в лице Платона Зубова он, поразмыслив, покарал любовника

своей матери и, безусловно, одного из самых презренных представителей фаворитизма, его позора и злоупотреблений. Но одновременно он пожаловал графский титул не только Дмитриеву-Мамонову, другому фавориту, пользовавшемуся всегда его вниманием и благосклонностью за его неверность по отношению к Екатерине, от которой ей приходилось терпеть, но и Завадовскому, который, в бытность свою в том же положении, ничем не мог заслужить себе его благоволения. Зато в 1799 году он выслал из Москвы в Саратов, без всякой видимой причины, красавца Корсакова, которого графиня Строганова и другие соперницы не менее успешно оспаривали у благоволившей к нему императрицы.

Оставалось еще одно живое доказательство преступной любви Екатерины. В 1764 году она чуть было не решилась, выйдя замуж за Григория Орлова, назначить его сына вместо сына Петра III, – или графа Салтыкова, – наследником престола. Этот соперник, Алексей Бобринский, был кроме того порядочный негодяй. Однако новый государь прежде всего поспешил вернуть его из Лифляндии, где он искупал свои многочисленные грешки. Он принял его с распростертыми объятиями, оставил обедать за своим столом, пожаловал ему, с 12 ноября 1796 года, графский титул, дом, поместье, чин генерал-майора вместе с командованием четвертым эскадром Конногвардейского полка и ленту к ордену Святой Анны. Во время одного из приемов при дворе он при всех отнесся к нему, как к брату. Правда, месяц спустя он о нем забыл, и Алексей, женившийся незадолго перед этим на дочери ревельского коменданта, Анне Унгерн-Штернберг, отправился прозябать в провинцию.

Однако деятельность Павла вначале не ограничивалась такими, более или менее невинными, фантазиями.

V

На армию направились первые начинания его преобразовательной работы, к которой он считал себя более чем достаточно подготовленным. На разводе лейб-гвардии Измайловского полка, назначенном на другой день после восшествия на престол, офицеры должны были уже явиться одетыми «по-гатчински». Огромное затруднение! Где найти необходимые трости и перчатки с раструбами? Лавки были закрыты. Однако надо было выйти из положения, чтобы не ослушаться приказа. Но это было только началом преобразований, давно задуманных новым государем.

Он не обратил большого внимания на развод, будучи целиком занят своим гатчинским войском, которое, будучи переведено в полном своем составе в Петербург, должно было в этот самый день торжественно вступить в столицу. Когда, опередив своих товарищей, поручик Ратьков приехал донести, что войска стоят уже у городских ворот, Павел его поцеловал, и вестник возвратился с Анненским крестом на шее. «Претендент» уже ранее, под большим секретом, раздавал этот знак отличия многим из своих гатчинцев, заставляя их носить его на рукоятке шпаги и повернутым «внутри», чтоб было менее заметно. Однако ордена все-таки были видны, но Екатерина не обращала внимания. Теперь милости государя могли проявиться во всем их блеске.

Собрав свои войска перед Зимним Дворцом, Павел поблагодарил их в трогательных выражениях за их верную службу и объявил им награду: все офицеры и солдаты будут переведены в гвардию, кадры которой получают необходимые изменения. Кроме того, офицеры, ранее награжденные орденом Св. Анны, получают тысячу, а остальные пятьсот душ каждый. По окончании срока службы, сокращенного для них с двадцати пяти лет на пятнадцать, простые солдаты получают право на земельные наделы: по пятнадцати десятин на душу в Саратовской губернии.

Таким образом, допущенные в привилегированную часть, новые пришельцы получили еще особые и выдающиеся преимущества. Кроме того, оказываемое им предпочтение, в

связи с целым рядом преобразовательных мер, касавшихся всей армии, ее внутренней организации и нравственных устоев, сопровождалось знаками презрения и оскорбительными выходками по отношению ко всем другим частям войск. Инспектируя вскоре храбрый Екатеринославский полк, Аракчеев оскорбил его знамена, прославленные в Турецкую войну: он назвал их «Екатерининскими юбками»!

Ветераны всех родов оружия пришли в негодование; но на гвардии еще больше отозвалось нашествие этого навязанного ей, своеобразного и в большинстве своем чужеземного элемента. В ней было сто тридцать два офицера, принадлежавших к лучшей русской аристократии, а новые пришельцы были большей частью немцы или малороссы, низкого происхождения. В то же время она должна была подчиниться полному изменению режима: Павел хотел, чтобы гвардия, сделавшаяся с давних пор лишь золоченой игрушкой, занялась теперь серьезной работой и, вернувшись к строевым обязанностям, подчинилась всем тяжелым требованиям военного дела.

Он был прав; но эта реформа, слишком радикально задуманная и приведенная в исполнение без всякой пощады, затягивала трагический узел, который должен был, четыре года спустя, погубить ее автора.

Последствием ее было также и то, что она тотчас же создала очаг оппозиции новому режиму, и без того не возбуждавшему единодушной симпатии.

Падая благодетельной росой на смятение первого дня, милости и щедроты несомненно вели к успокоению умов; но в то же время резкие поступки, капризы и странности нового государя приводили всех в смущение. Павел оказался чутким до жалоб и быстрым на суд, благодаря чему в поэмах, прочтенных молодым Бутеневым, написавшим впоследствии интересные мемуары, прославлялся «русский Тит», но некоторые выражали уже опасения, как бы Тит не обратился в Нерона. Семен Воронцов, несколько позже так строго осудивший Павла, аплодировал теперь из Лондона первым поступкам нового государя. Однако он не соглашался приехать и любоваться ими вблизи. «Мое состояние здоровья уже не таково, чтобы я мог участвовать в мороз и дождь в военных парадах. Я подохну от подобных трудов...».

Колебания общественного мнения совершенно верно изображены в депешах английского посла в С.-Петербурге, Витворта. 26 ноября он заявляет, что Павел, хотя и восстановил против себя некоторых лиц, но, со времени своего вступления на престол, возбуждает одобрение большинства. 5 декабря посланник выражается уже менее утвердительно: многочисленность указов, поминутно следующих один за другим, говорит он, смущает и подавляет общественное мнение.

Следует, правда, заметить, что в промежутке между двумя донесениями нота Остермана отняла у автора этих свидетельств надежду на то, что Павел согласится на проект англо-русского военного соглашения, о чем велись переговоры с Екатериной.

Но, с другой стороны, и Екатерина оставила после себя не одни сожаления. В самый день ее похорон прусский посол Тауентцин мог, не рискуя слишком явным уклонением от истины, послать следующее донесение: «Народ предается невероятной радости и удовлетворению. Царствование бессмертной Екатерины, лишненное окружавшего его призрака славы и величия, оставляет на самом деле после себя несчастную империю и управление, порочное во всех своих отраслях».

Тауентцин имел особые причины не одобрять правительства, сделавшего Россию союзницей Австрии. Однако и в глазах совершенно беспристрастных наблюдателей это царствование, как бы ни было оно обаятельно, скрывало за блестящей внешностью многочисленные и серьезные слабости: истощение финансов беспрестанными войнами, углублявшими все более и более образовавшуюся в них пропасть; развращение административных нравов, развившееся вследствие уверенности в безнаказанности хищений фаворитов; ослаб-

ление дисциплины в армии, где гвардия задавала тон, ведя к полному уничтожению всех военных добродетелей. Что Тауентцин или сам Павел преувеличивали, высказывая свои суждения о достоинстве и устойчивости политической постройке, предмета их критики, сын Екатерины впоследствии доказал сам, подвергнув это наследие испытанию своими нелепыми выходками. Тем не менее, оправдывая стремление нового царствования к преобразованиям, итоги прошлого узаконивали желания и надежды на лучшее будущее. Этим и объясняются некоторые восторженные манифестации, единичные в столице, но принявшие, по видимому, в провинции более, широкие размеры. Однако и там первые восторги быстро остыли при виде все чаще появляющихся императорских курьеров, привозивших указы, в которых добродетели «русского Тита» находили себе жестокое опровержение, и ко времени коронации нового государя везде уже немного оставалось от иллюзий, вспыхнувших лишь на одно мгновение.

VI

Павел не имел желания забыть советы Фридриха, которых не принял во внимание его отец, когда опоздал возложить на свою главу царскую корону. 18 декабря 1796 года был объявлен манифест о короновании, назначенном в апреле следующего года, и 15 марта Павел был уже в Петровском дворце, выстроенном Екатериной под Москвой. Обычай требовал, чтобы государи совершали торжественный въезд в древнюю столицу, требовавший долгих приготовлений. Павел потратил на них две недели, не удержавшись, однако, от того, чтобы не ходить каждый день в город, охраняя фиктивное инкогнито, при котором его сопровождал весь двор.

Дворец, где ему нужно было жить после Петровского, совсем не был готов его принять. Так как старый Кремль не имел достаточно просторных помещений, то государь облюбовал для себя дом, который Безбородко, большой любитель роскошных зданий и обстановки, только что выстроил в квартале, находившемся вне центра города среди обширного парка. Парком пришлось пожертвовать: Павел требовал большую его часть под «плац-парад», без чего он не мог обойтись. В одну ночь вековые деревья были срублены; но Безбородко сумел отделаться от своего обезображенного таким образом жилища: он уступил его новому жильцу и не потерял при торге.

Въезд происходил 27 марта, и процессия употребила восемь часов на прохождение нескольких верст, отделявших резиденции друг от друга. Павел сидел на старом белом коне, подаренном ему принцем Конде в Шантильи пятнадцать лет назад, и потребовал, чтобы все высшие чины и сановники ехали за ним верхом. Большинство из них были плохими кавалеристами, или, вследствие своего возраста, нетвердо держались в седле, и это, очевидно, отразилось на величии зрелища.

Но для церемонии коронования обычай требовал все-таки пребывания в Кремле, где великая княгиня Елизавета «целый день просидела в парадном платье на сундуке, за отсутствием более удобной мебели». Коронование происходило 5-го (16-го) апреля 1797 года, и придворные должны были явиться в этот день во дворец в пять часов, а дамы в семь часов утра! Павел хотел, чтобы в его одеянии к традиционной пурпурной мантии была прибавлена еще далматика, одежда восточных государей, похожая на епископскую мантию. Он, кажется, серьезно помышлял присвоить себе, в качестве главы российской Церкви, епископские функции. Он хотел священнодействовать, служить литургию и исповедовать свою семью и своих приближенных. Он даже заказал себе богатейшие церковные облачения и, говорят, упражнялся в чтении требника, но ему однако не удавалось, несмотря на все усилия, отделаться от тона военной команды при произнесении священных текстов. Противоположение Святейшего Синода, ловко противопоставившего один из пунктов канона, запре-

щающий совершение божественной литургии священникам, *женившимся вторично*, одно удержало его от приведения в исполнение подобной фантазии.

Все это допустимо. В смысле фантастических выдумок Павел превзошел все пределы возможного. Но, что бы о нем ни думали, если звание «главы Церкви» и находилось в законе о престолонаследии, опубликованном в этот момент, он не придал ему характера, какой приписывали ему впоследствии плохо осведомленные толкователи. Это звание определялось и основными законами Петра Великого, где с ним не соединялись права вмешательства в вопросы догматов, и текстом нового закона, позволявшего его понимать исключительно в административном смысле. В действительности и Павел никогда не стремился распространять в этом направлении свою компетентность. Входя в Царские врата, он, на замечание митрополита, совершавшего литургию, согласился даже снять свою шпагу.

Но он не отказался от ношения *далматйки*, даже во время военных маневров и парадов, и это одеяние из гранатового бархата, вышитого жемчугом, приделанное к его мундиру и болтающееся на высоких сапогах, составлявших принадлежность формы, производило впечатление, которое легко можно себе представить.

Павел имел большое пристрастие ко всему величественному и не умел отличать смешного.

Литургию совершал митрополит новгородский и с. – петербургский Гавриил (Петров), предназначенный, как предполагали, государем к возведению в сан патриарха, который Павел будто бы собирался восстановить. Но человек простой и настолько же скромный, сколько и ученый, митрополит подвергся в 1799 году немилости за то, что отказался от Мальтийского Креста и от приглашения в оперу. Прежний духовник Павла, Платон, казалось бы, по своей роли и в качестве московского митрополита был естественно предназначен совершать богослужение. Но он уже был в немилости. Будучи болен в момент вступления на престол нового государя, он опоздал ответить на его призыв и отказался через некоторое время от ордена Св. Андрея Первозванного, который ему пришлось, однако, надеть в день коронавания, когда он участвовал в совершении литургии.

В первый раз в истории России два лица были коронованы в один день: император и императрица, которой Павел собственноручно возложил на голову маленькую корону.

По окончании всех церковных обрядов, Павел прочел громко в церкви *Фамильный Акт*, – заготовленный им еще девять лет назад при содействии Марии Федоровны и устанавливающий порядок престолонаследия, по которому престол переходит старшему в роде по мужской линии. Одновременно были опубликованы: Учреждение об Императорской Фамилии, Высочайше утвержденное Установление о Российских Императорских орденах и манифест о трехдневной работе помещичьих крестьян в пользу помещика и о непринуждении к работе в дни воскресные. Этот документ, прекрасно задуманный, но плохо составленный, должен был впоследствии вызвать самые прискорбные толкования.

В установлении об орденах ордена Св. Георгия и св. Владимира были обойдены молчанием. Указ, данный уже позже (14 апреля), по настоянию Нелидовой, ссылаясь на устное заявление государя, сделанное им будто бы в день коронации, но никем однако не слышанное. В нем говорилось, что относительно ордена св. Георгия все остается по-старому. Орден же Св. Владимира был восстановлен только при императоре Александре I.

Бывший польский король Понятовский, в длинной царской мантии, должен был присутствовать при коронации и когда, вследствие продолжительности обряда, он вздумал дать минутный отдых своим страдающим от подагры ногам, император приказал ему снова встать. Как и все приближенные государя, сверженный король не отделался однодневным участием в этой торжественной и утомительной церемонии. Две недели спустя празднества, беспрерывно следуя одно за другим, все еще продолжались и, когда племянник короля пожаловался на это одному из распорядителей, то получил такой ответ:

– Вам кажется, что их слишком много; ему же никогда не бывает достаточно!

День за днем, окруженные великими князьями и великими княгинями с их свитой, император и императрица проводили долгие часы в приеме поздравлений и целования руки, Павел, действительно, все еще не был удовлетворен. Чтобы доставить ему удовольствие, обер-церемониймейстер Валуев пропускал по несколько раз одних и тех же лиц, как в театр. Но императрица помнила, что слышала от Екатерины, как у нее в этот день распухла рука, и, не обнаруживая у себя ни малейшего признака опухоли, Мария Федоровна приходила в отчаяние.

В этих скучных празднествах единственным моментом, доставивший удовольствие другим участникам, было чтение толстой тетради, являвшейся предметом всеобщего напряженного внимания. В ней находился список наград, пожалованных государем по случаю коронации. Не дождавшись конца чтения, гости стали выходить из-за стола. Безбородко получил княжеское достоинство с титулом светлости, портрет государя, осыпанный бриллиантами, бриллиантовый перстень огромной ценности с портретом императрицы и несколько десятков тысяч душ. Кутайсов был сделан обер-гардеробмейстером. Ливень обратился в дождь.

И Мария Федоровна получила свою часть: Павел поручил императрице общее руководство учебными заведениями в обеих столицах. Но препровождение времени за эти недели не ограничивалось лишь дарованием милостей и принятием почестей. Ежедневно император посещал и свой «плац-парад», и всегда появлялся там с возбужденным и грозным лицом. Екатеринославский кирасирский полк, уже видевший дурное отношение со стороны Аракчеева за то, что он принадлежал раньше Потемкину, находился там, и ему особенно приходилось терпеть от далеко не доброжелательного к нему расположения государя. Тургенев служил в этом полку. Подозвав его однажды после учения, Павел, не говоря ни слова, ущипнул его за руку, не в шутку, как несколько лет спустя дергал за уши своих гренадер «*Le petit sарогal*», но с явным намерением причинить боль. Пытка продолжалась, и у молодого корнета на глазах выступили слезы, в то время как стоящий вместе с Аракчеевым позади отца кроткий Александр побледнел. Наконец, Павел заговорил:

– Скажите в полку, а там скажут далее, что я из вас потемкинский дух вышибу; я вас туда зашлю, куда ворон ваших костей не занесет!

Товарищи Тургенева и после часто слышали эту угрозу. На этот раз, удовлетворившись произведенным впечатлением, Павел выпустил свою жертву; но, повернувшись быстро на каблуках, корнет имел еще несчастье задеть концом палаша по ногам своего мучителя, и теперь считал себя погибшим. Однако, не дрогнув, он удалился церемониальным шагом, и к его большому удивлению, вместо ожидаемого крика, голос императора, внезапно смягчившийся, произнес ему вдогонку комплимент:

– Бравый офицер! Славный офицер!

Правда это или вымысел, но поступок этот вполне соответствует духу и приемам Павла, обнаруженным им при дальнейшем проявлении власти, которой он только что дал высшее освящение.

Глава 5

У власти. Мысли и поступки

I

Образ мыслей и особенно способ действий Павла при проявлении самодержавной власти, настолько серьезно отразились на событиях его царствования, что для лучшего понимания этих последних необходимо предварительно бросить беглый взгляд на первые.

Вглядываясь в известные нам образцы, стремление к подражанию являлось главной его чертой. Людовик XIV был сам своим первым министром. Еще более высокомерный Фридрих II совершенно обходился без подобных сотрудников. Он довольствовался простыми писцами и, чтобы подготовить им работу, вставал до рассвета, между 3 и 4 часами утра. В этот момент ему приносили корреспонденцию: депеши иностранных послов, офицерские рапорты, планы построек, проекты осушения болот, прошения, жалобы, просьбы о разрешении присутствовать на параде. Он все рассматривал и распределял, клал свои резолюции, всегда кратко, часто в форме острой эпиграммы. В 8 часов эта работа заканчивалась. Генерал-адъютант получал тогда инструкции, касающиеся военного управления в государстве, и король ехал на парад, или производил смотр гвардии, где входил во все подробности с мелочностью унтер-офицера. В это время четыре секретаря работали над составлением ответов, руководствуясь утренними резолюциями короля. Он подписывал эти ответы по возвращении с парада, и они в тот же день отсылались.

Этого-то человека, сделавшись самодержцем, и хотел, главным образом, изображать Павел, более склонный, по известным нам причинам, к разыгрыванию роли, чем к серьезному труду, и неизбежно предназначенный пасть под непосильной тяжестью возложенного им на себя бремени. Привыкнув с давних пор вставать очень рано, он захотел тотчас же принудить к этому и всех служащих. Канцелярии и коллегии, освещенные до зари, придавали городу совсем новый вид, и даже сенаторы получили приказание являться на службу к 8 часам утра. Но вдаваться при выполнении своей роли в *сущность* намеченного им дела Павел не был способен, и он с еще большим жаром и упорством занялся одной *внешностью*.

Чувствуя себя всегда на сцене, он постоянно заботился о производимом впечатлении. «Хорошо ли я выполняю мою роль?» – спрашивал он князя Николая Репнина во время церемонии коронации. «Можно бы сказать, – заметила графиня Головина, – что он тщеславный простой смертный, получивший играть роль государя, и что он спешит насладиться удовольствием, которое от него скоро отнимется». А князь А. Чарторыйский пишет: «Как только он появлялся в публике, он начинал ходить размеренным шагом, как будто играл в трагедии; он делал усилия казаться выше своего маленького роста, а когда возвращался к себе и снова принимал свои буржуазные манеры, видно было утомление от только что сделанных усилий держать себя величественно и с изяществом».

Хотя в своем честолюбии подражателя Павел и отдавал предпочтение Фридриху, но на самом деле он старался чаще всего воспроизвести Людовика XIV, – однако не скромного и трудолюбивого сотрудника Лионна, или Кольбера, а создателя феерической пышности Версаля. Управление государством являлось для него прежде всего публичным спектаклем, где он был одновременно и режиссером, и главным действующим лицом. По свидетельству Витворта, половина его времени проходила в смешных церемониях, а другая, под видом военной реорганизации, в бесполезных парадах. В действительности, однако, совершенно,

может быть, невольно, Павел стал довольно близко следовать еще третьему примеру, самому непривлекательному из трех. Скоро мы его увидим на сцене в этом неприятном облике.

В декабре 1797 года вдруг распространился слух, что два гвардейских офицера, известный поэт И. Дмитриев и В. Лихачев, посягают на жизнь государя. Расследование быстро установило ложность доноса, сделанного на них одним из слуг. Павел, однако, их так не оставил. Создав театральную обстановку, он заставил обвиняемых явиться перед собранием, где находились все его приближенные, семья, высшие сановники, офицеры всех чинов. Он обратился с вопросом к присутствующим:

«Должен ли я верить этому заговору? Неужели я имею между вами изменников?» В ответ на это он вызвал шумные уверения в верности и преданности и на другой день, на параде, с гордостью показывал мундир, разорванный при этих проявлениях восторга.

И при подобного рода театральных выходках он думал управлять государством по образцу создателя прусского величия.

II

«Государь ни с кем не разговаривает ни о себе, ни о своих делах, пишет Ростопчин; он не выносит, чтобы ему о них говорили. Он приказывает и требует беспрекословного исполнения». Представление, которое Павел создал себе о своем назначении, привело его к уверенности, что у него есть все данные его выполнить, и к убеждению в своей непогрешимости в этом отношении. «Возводя на престол монархов. Бог заботится о том, чтобы их вдохновить», объявил он. Он решил назначить во все полки священников. Для этого епископы представили ему кандидатов, которых постарались выбрать из числа наименее достойных своих подчиненных, чтобы от них таким путем избавиться. Павел заметил между ними одного, выделявшегося своим высоким ростом.

– Как тебя зовут?

– Павел.

Император вздрогнул. В этом сходстве имен он увидел указание свыше. Он пригласил молодого священника к себе в кабинет и, по выходе оттуда, *Павел Озерецковский* сделался протопресвитером армии и получил право доступа к государю во всякое время дня и ночи!

Ссылаясь таким образом на указания свыше, царственный волшебник не стеснялся, как и все ему подобные, примешивать к ней долю плутовства. Перенесенный с одной страницы на другую в списке производств конечный слог *киже* в выражении *прапорщики же* ввел его в заблуждение. Он принял его за фамилию и, движимый капризом, отдал приказ, что прапорщик *Кижэ* производится в поручики. Увидев замешательство и неодобрение на лицах своих подчиненных, не осмелившихся однако открыть ему его ошибку, он на следующий день произвел поручика в капитаны, а через несколько дней в полковники, написав при этом «вызвать сейчас же ко мне». Страшное замешательство! В поисках несуществующего *Кижэ* перерыли все присутственные места. Наконец нашли офицера с такой фамилией в одном из полков, расположенном на Дону. Послали туда. Но Павел начал терять терпение, и ему наконец сказали, что *Кижэ* внезапно скончался.

– Жаль, сказал государь, он был хороший офицер!

Не падая духом при неудаче, Павел хотел даже превзойти тех, кого взял себе за образец. На одной из дверей Зимнего Дворца он велел повесить снаружи ящик, куда его подданные получили разрешение опускать прошения и доносы. Он хранил ключ у себя кармане и пожелал собственноручно вынимать многочисленные письма, не замедлившие там оказаться. Войдя таким образом в непосредственное сношение со своими челобитчиками, он отвечал им печатно в официальных ведомостях. Он указывал им путь, по которому надо следовать, чтобы получить удовлетворение, и просил сообщать результаты их хлопот.

Первые дни ящик не оставался пустым, и средство оказалось вначале полезным. Оно помогло раскрыть и искоренить некоторые злоупотребления. Но вскоре, одновременно с тем, что количество работы превзошло его ожидания, Павел нашел среди писем массу памфлетов и оскорбительных пасквилей, авторами которых, как предполагали, большей частью были лица, заинтересованные в том, чтобы отбить у государя охоту к этой выдумке. И действительно, он не замедлил ее забраковать.

То же стремление к самостоятельной работе, свободной от всякого вмешательства, наблюдалось в области внешней политики. Приступив в конце ноября 1796 г. к возобновлению переговоров о бракосочетании Густава IV с великой княжной Александрой Павловной, шведский посол Клингспор встретил в Павле твердое намерение лично вести с ним переговоры о деле. Коллегии иностранных дел здесь нечего делать. «При теперешнем порядке вещей, писал год спустя Безбородко, каждый может руководить этим учреждением». Еще год, и, видимо, всякое руководство будет излишне. «Император, замечает вице-канцлер Панин, лично прочитывает депеши, но с такой быстротой, что является совершенно невозможным, чтобы, при всем своем желании, он мог удержать в памяти все, достойное его внимания». Сверх того, за недостатком размышления и серьезного отношения к делу, Павел вносил в свою работу, как и всюду, самые невероятные фантазии. Ростопчин уверял, что добился отмены решенного государем объявления войны Англии, согласившись пропеть одну из любимых его оперных арий!

В массе анекдотов подобного рода, передававшихся современной молвой, можно допустить большую долю вымысла. Неспособность Павла хоть сколько-нибудь разобраться в многочисленных вопросах, за которые он брался неловкой, но смелой рукой, подтверждается фактами, равно как и его неумение выбрать подходящие средства для выполнения его диктаторских распоряжений. Он приказал навести справки о разведении сахарной свекловицы и обратился для этого к инспектору кавалерии!

Он вникал не только в мельчайшие подробности гражданской и военной администрации, но и в домашние дела своих подданных, причем отношение к ним находилось в зависимости от настроения, изменчивость которого нам известна. В хорошую минуту он был способен на величайшее добродушие. В другой раз, принимая доклад, он вступал в спор с докладчиком; он вызывал его возражения, защищал собственное мнение, горячился, и приводил своего собеседника в такое волнение, что Кутайсов однажды испугался и убежал, объяснив потом, что боялся, «как бы они не подрались».

Однажды во время путешествия, подъехав ночью к помещению, которое он велел себе приготовить, он нашел его занятым. Почтовая карета, по ошибке, отвезла туда хирурга Его Величества. Почтальон уверял, что был введен в заблуждение путешественником.

– Он мне сказал, что он *император!*

– Да нет, ты не расслышал; он должно быть сказал *оператор; император* – это я.

– Простите, батюшка, я и не знал, что вас двое...

Павла очень рассмешил этот случай. Но на другой остановке во время того же путешествия безотлучно за ним следовавший и пользовавшийся его широкой благосклонностью статс-секретарь Нелединский обратил внимание государя на великолепные дубы, «первые представители лесов Урала», сказал он.

– Потрудитесь, сударь, немедленно оставить мою карету, – ответил Павел, почувявший политический намек в этом выражении, так невинно употребленном его спутником.

Его недоверие, основанное на презрении к людям, не было введено в систему, как у Фридриха, потому что под влиянием мимолетных увлечений он иногда от него освобождался и вдавался даже в противоположную крайность. Чаще, однако, он предавался этому чувству до потери самообладания. Просматривая по свойственной ему привычке в общих чертах счета, представленные ему государственным казначеем, бароном Васильевым, Павел поду-

мал, что обнаружил покражу в четыре миллиона. Он тотчас же вышел из себя и схватил за горло генерал-прокурора Обольянинова, осмелившегося заступиться за мнимого вора. Оказалось, что предназначенная на экстраординарные расходы сумма, которую царь не нашел в отчете, была из него изъята по его же распоряжению! На его рабочем столе лежала относящаяся к делу записка. Но он не потрудился ее прочесть.

Из-за нескольких аршин галуна, украденных одним солдатом со склада всякого каретного старья, подозревая в этом воровстве интригу иностранных держав, враждебную его политике, Павел расстался с Аракчеевым, единственно искренно ему преданным человеком в окружавшей его среде!

Эта среда была, как калейдоскоп, и так же, как фигуры, появляющиеся и исчезающие в нем, со дня на день были изменчивы и решения императора. Один из рисунков того времени изображает его держащим по листу бумаги в каждой руке с надписями на этих листах и над головой: «Order! – Countre-order! – Disorder!» Это только карикатура; но некоторые страницы из «Собрания узаконений и распоряжений правительства» за 1797–1801 гг. почти буквально ей соответствуют. 20 августа 1798 года указ Его Величества запретил в Петербурге дрожки; 20 октября другой указ, за той же подписью, отменял предыдущий.

Девять раз из десяти проявления монаршей воли обращались на совсем ничтожные предметы. Чаще всего они принимали характер еще более безрассудный. Преследуя своей ненавистью Потемкина, Павел не удовольствовался распоряжением стереть с лица земли все следы могилы знаменитого князя Таврического, или разрушить памятник, воздвигнутый ему в Херсоне; он переименовал и город Григориополь, напоминающий жителям имя его основателя. Он хотел, чтобы он вновь назывался «прежним именем» *Черный*, хотя недавно выстроенный на берегу Днестра, между долинами рек Черной и Черницы, он никогда прежде не существовал.

Такое же отсутствие здравого смысла замечается тогда, когда Павел внезапно начинает вводить улучшения, несмотря на их дороговизну. Решение в один прекрасный день заменить вьючных лошадей упряжными для всего обоза армии стоило пять миллионов. Возвращение через несколько месяцев к прежней системе: другие пять миллионов. Проявления подобной безудержности, к счастью, были довольно редки: «Мы занимаемся только мелочами, писал Роджерсон в сентябре 1797 года, и эти мелочи постоянно меняются... Каждый человек может всего ожидать». Действительно, шведский посол Стеддинг оказался вынужденным в тот день, когда давал большой дипломатический обед, встать из-за стола и немедленно отправиться с 50000 солдат, данными ему императором, для подавления восстания в окрестностях Стокгольма, о котором Павел получил известие, представлявшее, однако, собой чистейший вымысел.

Самодержец действует так же, как поступал наследник; только вследствие большей несдержанности, проявления самодержавия приводят к более серьезным последствиям. На параде приказание, изменявшее обычный порядок перестроения, но произнесенное слишком тихо, не дошло до слуха эскадронного командира.

– Долой его с лошади! Всыпать ему до ста ударов палкой!

Но, как и прежде наследник, самодержец иногда предается раскаянию. Через несколько дней он узнает с удовольствием, что варварское приказание не было исполнено. Он благодарит своего сына Константина, дерзнувшего взять на себя ответственность за это послушание, и производит в следующий чин офицера, избавившегося благодаря этому от позорного наказания. Но по большей части Павел присутствует при производстве назначенных им экзекуций, а иногда выполняет их сам. Он преследует с поднятой палкой между шеренгами корнета кирасирского полка, лошадь которого забрызгала его грязью, и радуется потом, что кавалерист избежал наказания. На другой день он его приветствует такими словами:

– Ты вчера спас от беды и себя и меня!

В декабре 1799 г. генерал от инфантерии князь Сергей Голицын получил от своего сына Григория, генерал-адъютанта, пользовавшегося в то время большой благосклонностью государя, записку следующего содержания:

«Государь Император указать соизволил Вашему Сиятельству объявить желание его вас видеть, равно и то, что имеет в вас нужду, признаваясь, что он скоростью своею нанес вам оскорбление».

Но, как и прежде, за этой нуждой покаяться в ошибке, что не всегда можно исполнить, следует такой же внезапный поворот. Меньше чем через два месяца после вышеприведенного письма получивший его подвергся отрешению от должности и ссылке.

Когда Талейран столкнулся с Павлом в той области, где чувствовал себя хозяином, то определил его образ действий со своим обычным остроумием: он сказал, что «*les volontés ambulatoires* не позволяют опереться ни на одно из них».

Несомненно, что воображение современников прикрасило факты, служившие явным доказательством непоследовательности и ненормальности ума, все более и более мутившегося от возможности пользоваться неограниченной властью до злоупотребления. Сделавшаяся знаменитой команда: «Справа рядами в Сибирь!» очевидно никогда не произносилась Павлом на плац-параде. Саблуков утверждает, что не пропустил ни одного учения, и однако только один раз видел, как государь вышел из себя до того, что ударил некоторых офицеров палкой. Вполне вероятно также, что, несмотря на очень распространенную легенду об этом случае, сын Екатерины не приказывал расстрелять помещика Смоленской губернии за простое нарушение распоряжения о починке дорог. Объезжая губернию, государь запретил исправлять на своем пути дороги, чтобы иметь возможность лучше судить об их обычном состоянии. В имении дворянина Храповицкого он, однако, заметил рабочих, чинивших мост. Это и вызвало его гнев и намерение предать смерти виновного, но он был остановлен вмешательством Провидения. Безбородко, занявшись составлением смертного приговора в избе, где водились тараканы, был прерван появлением этих насекомых в таком количестве, что выбежал без шапки на улицу, и Павел усмотрел в этом факте указание свыше к милосердию.

Ужас, внушенный тараканами светлейшему, кажется, единственное обстоятельство исторически верное в этом приключении, которое заставило пролить потоки чернил и, вызвав ни на чем не основанную вспышку гнева со стороны государя, а также лишней раз обнаружив обычную его необдуманность, оказалось простым недоразумением, в действительности не подвергшим, кажется, ничьей жизни серьезной опасности. Не только в Смоленской губернии, но и в Новгородской молва почти так же искажила аналогичный случай: по жалобе нескольких крестьян, посланных на такую же работу, Павел, на этот раз, велел будто бы повесить местного полицейского урядника.

«Неуменье себя сдержатъ», в чем государь признавался сам, не прошло, однако, бесследно и повлекло за собой многочисленные жертвы.

III

Даже в спокойном состоянии его ум оказывался совершенно неспособным, несмотря на стремление и старанья, управлять сложным механизмом правительственной машины, все мельчайшие части которой ему собственноручно хотелось пустить в ход. Адмиралтейств-коллегия, ее начальник адмирал Кушелев и С.-Петербургское купеческое общество представили ему три различных и противоречивых друг другу проекта предполагаемого устава внутренней навигации. Не прочтя их, или не поняв, он написал под каждым из них обычные слова одобрения: «Быть по сему», и велел все опубликовать.

Умножая приказы и отменяя их, он не успевал в них разобраться. Он отстраняет от командования артиллерией Буксгевдена, к которому относился с большим уважением, и

передает его Палену, на которого только что обрушился его гнев. А причина? Упражнения в стрельбе, предписанные к исполнению инструкцией, которую он сам дал. Но он уже о ней не помнит.

Необыкновенно педантичный, он тратит и время и труд на пустые подробности, делая в 1798 году один за другим запросы Палену, почему такой-то унтер-офицер болен, а такой-то переводится из Москвы в С.-Петербург, или с каким паспортом приехал из Вены такой-то продавец картин. Он разбрасывается и впутывает своих приближенных во всякие безделицы. Простившись на балу со своим сыном Константином, он через несколько минут удивляется, что не видит его в своем кабинете, где обычно, в присутствии великого князя, принимал рапорт дежурного офицера. Тотчас же он почувствовал такое неудовольствие против сына, что продержал его взаперти восемь дней, отсылая обратно нераспечатанными его письма с извинениями. Молодой великий князь сам обращал чересчур много внимания на мелочи; но, как и все, он не замечал сходства с собой в тех случаях, когда безудержно проявлялась отцовская фантазия.

– Вы здесь не на корабле! – сказал он одному морскому офицеру, увидев его в *полусапожках* на плац-параде. – Подите наденьте *высокие сапоги*.

Тотчас же после этого Павел останавливает офицера, переменившего сапоги.

– Вы здесь не верхом! Подите наденьте *полусапожки*.

Глава огромного государства, а по его воле и все его сотрудники тратили свое лучшее время и силы на такие пустяки! Между тем, взвалив на себя работу, с которой не справился бы и Великий Фридрих, Павел вместе с тем слишком переобременил и своих подчиненных. Расширяя непомерно с каждым годом власть и обязанности губернаторов, он обратил в пословицу выражение *положение хуже губернаторского*, и теперь еще применяемое к людям, обездоленным судьбой. В смысле порядка не только административного, но юридического и фискального, компетентность и ответственность этих чиновников не знали границ и обязывали их, например, возмещать из собственных средств убытки пострадавшим от покражи в почтовой карете!

Никто не может надеяться угодить этому требовательному государю, потому что, всегда настойчивый в своих желаниях, Павел часто сам хорошенько не понимает, а иногда и вовсе не знает, чего хочет. Он хочет, чтобы мундир его солдат, в отношении цвета и покроя, был точной копией прусского образца. Но он требует также, чтобы местные фабриканты сукон, изготовляемых для этой цели, пользовались определенными красящими веществами, при помощи которых, по заявлению торговцев, невозможно получить необходимый темно-зеленый оттенок. Последствием было то, что вице-президент Мануфактур-коллегии, Александр Саблуков, был отрешен от должности и получил предписание немедленно выехать, несмотря на серьезную болезнь, из С.-Петербурга. Из-за этого его разбил паралич.

Форма, в которую Павел постоянно облакает проявления своего неудовольствия, обыкновенно так же оскорбительна, как ничтожны вызвавшие его причины. С первых же дней царствования служивший у него секретарем князь Андрей Горчаков услышал от него следующее:

– Что ты о себе вздумал, что раз ты племянник Суворова, обвешан крестами, то можешь ничего не знать и ничего не делать?

Павел знал и помнил некоторые решения Фридриха, облеченные в форму эпиграммы. Он стремился подражать и им; но не сохраняя этого упражнения в остроумии в тиши своего кабинета, не предоставляя попечению своих секретарей сглаживать его остроты, он говорит их открыто, он предаст гласности в официальном органе, где появляются служебные приказы такого рода:

«Поручик такой-то был исключен из списков, потому что числился по ошибке умершим. Он просит быть восстановленным в должности, потому что жив. По сей причине отказано».

Или:

«Лейб-гвардии Преображенского полку поручик Шепелев выключается в Елецкий мушкетерский полк за незнание своей должности, за лень и нерадение, к чему привык в бытность его при князьях Потемкине и Зубове, где вместо службы проводили время в передней и в танцах».

Совершенно в духе тех замечаний, которые писал на полях друг Вольтера, но гораздо менее сдержанно, вдохновение Павла затрагивало, иногда и нектати, даже литературные погрешности, встречавшиеся, по его мнению, у писавших ему лиц. Он велел написать одному из них:

«Государь Император, получив сего числа рапорт ваш, коим доносите, что вследствие Высочайшего повеления, вам данного, все вами *выполнено* будет, указать соизволил: дать вам знать, что *выполняются* лишь тазы, а повеление должно *исполнять*».

В подобном способе действий можно угадать с его стороны отчасти воспоминание о педагогических приемах Бехтеева, отчасти же, хотя Павел и хвалился, что ненавидит прессу, бессознательное на этот раз подражание любимым приемам Екатерины, которая, как мы знаем, охотно *прибегала* к этому новому для того времени средству борьбы. Но Павел обнаруживает в этой области необыкновенное отсутствие меры и приличия.

Примешивая часто грубую ругань к своим приказаниям и замечаниям, он дошел до того, что привык употреблять слово *дурак* без всякого разбора. Письменно, или устно, он посылает его кому попало, не считаясь с возрастом и чином: военному министру Ливену за то, что он нечаянно ошибся при чтении рапорта; вице-канцлеру Панину за то, что он, без разрешения, выдал паспорт курьеру австрийского посла, Кобенцля, и одному незнакомцу на балу «за то, что он ротозей».

Его не останавливает ни чувство, ни требование приличий. Он грубо выслал из Павловска, заставив немедленно уехать, старика графа Строганова. Этот человек, в течение многих лет обедавший за царским столом и пользовавшийся исключительным расположением и величайшим вниманием, имел дерзость сказать, что после полудня будет дождь, когда государь желал идти гулять!

Долго нравиться ему – невозможно, так многочисленны способы оскорбить его желания и столько вкладывал он никогда не дремлющей изобретательности в изощрение своей способности к критике и привычки всех подозревать. Толкая его на устройство в высшей степени инквизиторского и до крайности полицейского образа правления, подкараулила и поймала его третья крайность, которой поддалась его склонность к подражанию: точнее всего он скопировал французский *комитет общественного спасения*.

IV

Павел воображает, что может за всем уследить с Павловской башни. Но обширное государство, на которое он захотел распространить подобный надзор, не поддается его личной бдительности. Поэтому, несмотря на его желание самому изображать у себя полицию, он начинает беспредельно увеличивать число набираемых для этого помощников. Он дошел, наконец, до того, что стал хвастаться, будто у него их столько же, сколько Россия насчитывает помещиков, и, правда, он ото всех требует подобных услуг. Его чиновники, конечно, все без исключения принуждены нести эти обязанности, и в декабре, например, 1799 года генерал-прокурор Беклешов и статский советник Николаев должны отправиться в поездку,

чтобы представить донесение о поведении в Москве какой-то княгини Долгорукой, или разузнать в Шклове, как живет там бывший фаворит Екатерины Зорич.

По духу это то же режим, который свирепствовал во Франции с 1792 по 1794 год.

В С.-Петербурге военный губернатор Архаров и комендант Шейдеман действуют в том же направлении с такой строгостью, что даже на чисто увеселительных сборищах, как вечера или балы, приходилось мириться с пребыванием пристава в полицейском мундире. Павел дает небывалое развитие деятельности черного кабинета. Он велит там прочитывать даже письма его невестки, будущей императрицы Елизаветы Алексеевны, к матери, и один почтовый чиновник умолял великую княгиню отказаться от употребления симпатических чернил, потому что «есть средства на все».

Помимо этого надзора политического характера, повсеместная полиция наблюдает также за строгим исполнением массы правил, касающихся не только формы шляпы и покроя платья. У ворот столицы на огромных досках написаны многочисленные предписания, с которыми жители обязаны сообразоваться, остерегаясь особенно произносить слово *курносый*, в котором может скрываться непочтительный намек. Для иностранцев те же требования сопровождаются угрозой *неизвестного наказания*. Другие еще более подчеркивают сходство с теми самыми французскими республиканцами, которым Павел начинает подражать и принципы которых он отвергает, следуя в то же время их приемам. Это явление довольно обычное в истории. В апреле 1798 года рижский военный губернатор Бенкендорф получил приказание задержать на границе и отослать в С.-Петербург трех французов, о прибытии которых в Россию было получено извещение. В то же время право въезда в страну для их соотечественников всех званий было поставлено в зависимость от особого разрешения Его Величества в каждом отдельном случае. Через несколько дней эта мера была распространена на *всех иностранцев*. Исключение было сделано для дипломатических агентов, их курьеров и высокопоставленных лиц; но в июле, когда принц Гессен-Рейнфельский приехал на границу с паспортом, выданным графом Паниным, Павел грубо приказал вернуть его обратно, как *не получившего надлежащего разрешения*.

Целью подобного преследования было – предохранить Россию от революционной заразы; но и внутри своего государства Павел умножает заставы и опыты политической предосторожности, проявляя вместе с тем по отношению к своим собственным подданным все более усиливающийся деспотизм. Подобно слову *курносый*, он запрещает им пользоваться многими другими словами, употребление которых по разным причинам оскорбляет его слух: например, *общество*, *гражданин* и даже *отечество* подверглись запрещению.

Независимо от соображений политического характера, сын Екатерины хочет добиться еще литературного пуризма, которым, как мы видели, он увлекался. С 23 декабря 1796 года циркуляром князя Куракина, тогдашнего генерал-прокурора, он велел предписать лицам всех чинов, состоящим на государственной службе, «употребление языка более правильного, чем тот, которым они обычно пользуются при письмоводстве». Но и тут он проявляет самый необдуманый произвол, а именно предписывая заменить некоторые русские слова иностранными: *стража* – татарским словом *караул*; *отряд* – франко-немецким *деташемент*; *врач* – польским *лекарь*.

Эти нелепости происходят единственно от каприза. В общем, однако, деспотизм Павла, его манера вмешиваться в домашнюю жизнь своих подданных имеют главным своим источником созданное им себе представление о патриархальном значении своей роли, которое он связывает с учением о государстве-провидении, исповедуемом им незаметно для самого себя, тоже вместе с якобинцами, которых он ненавидит. В отношении своих подданных он смотрит на себя, как на отца, на обязанности которого лежит забота о детях. Он вмешивается в домашние распри, семейные интересы и мелочи домашнего хозяйства. Он добивается согласия от княгини Щербатовой на примирение с сыном, пригрозив ей заточением в мона-

стырь. Он запрещает госпоже Хотунцовой отправиться на богомолье в Бари для поклонения мощам святого Николая Чудотворца: «дорога слишком длинна и опасна». Он заставляет другую даму выдать дочь за негодяя и находит неприличным, что баронесса Строганова обедает в 3 часа. Отдыхая после своего собственного обеда на балконе Зимнего Дворца, он услышал звук колокола, возвещавшего об обеде соседки. Как? она смеет обедать в то время, когда в нем происходит процесс пищеварения! К дерзкой послан полицейский, передавший ей приказание садиться отныне за стол двумя часами раньше. По преданию, царь вздумал даже назначить число блюд, допустимое за обедом и ужином у каждой категории его подданных.

В то же время, под снисходительным на сей раз оком Архарова, полиция входит в соглашение с торговцами, чтобы повысить искусственно цены на припасы. Павел этого не замечает; но он занимается исправлением упрямой лошади, которая бьется перед Зимним Дворцом в оглоблях повозки.

Как хозяин, по его убеждению, и как облеченный властью и мудростью свыше вершитель всех дел в вверенном его попечению уголке вселенной, он требует безропотного и немедленного себе повиновения во всем, и покорность и быстрота, действительно отвечающие малейшим его желаниям, как бы необдуманно и бессмысленны они ни были, приводят его к еще большей необдуманности и бессмыслице.

Чтобы этого театра, сударь, не было! – приказал он Архарову, когда однажды утром, во время обычной прогулки верхом, проезжал мимо Итальянской Оперы, старого деревянного здания, далеко не декоративного вида. В тот же день, в 5 часов вечера, ординарец государя, проезжая невдалеке, был удивлен, не найдя даже следа осужденного здания: пятьсот рабочих при свете факелов кончали равнять землю.

Был ли это излишек стараний, или насмешка, но исполнители этих распоряжений охотно их преувеличивали, или искажали их смысл. Пален получил от Павла распоряжение передать его неудовольствие княгине Голицыной и «намылить ей голову»; придя к ней, он серьезно спросил таз, мыла, горячей воды и самым почтительным образом выполнил буквально предписанное ему поручение.

Один паж обращает на себя внимание государя каким-то отступлением от формы одежды. Павел приказал отвезти «эту обезьяну» в крепость. Тот же Пален делает вид, что ошибся относительно лица, которого касалось это распоряжение, и так как католический митрополит Сестрженцевич находился в той же зале, он запер прелата, пользовавшегося огромным расположением государя. Через несколько часов, по своему обыкновению, Павел требует подробный отчет о последствиях предписанного тюремного заключения, поведении узника, его словах и поступках.

– Он сильно кричал, плакал?

Очевидно, горе и страдания его жертв представляют для него живейший интерес. Он смакует их во всех подробностях; он ими наслаждается. Ему нравится разыгрывать из себя Иоанна Грозного, и он любит наводить страх. Но на этот раз он слышит такой ответ Палена:

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.